

КІ 1292125

се

...Кто бы ты ни был — комбайнер, академик, художник, — живи и выкладывайся весь без остатка, старайся много знать, не жалуйся и не завидуй, не ходи против совести, старайся быть добрым и великодушным — это будет завидная судьба.

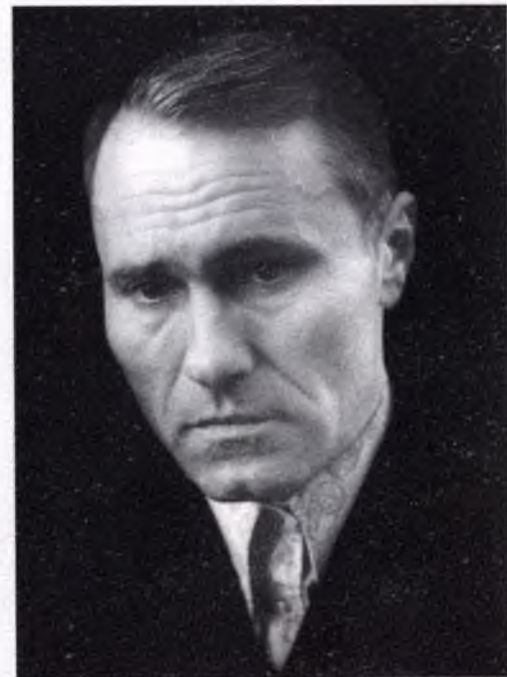
*В. М. Шукшин*

«ВОЛОГДА • XX ВЕК»  
«Светлые души»  
РАССКАЗЫ

ВОЛОГДА • 1999



ВОЛОГДА • XX ВЕК



## *Светлые души*

РАССКАЗЫ

*Лауреатов*

*Всероссийского литературного  
конкурса имени Василия Шукшина*



«Вологда. XX век»

# СВЕТЛЫЕ ДУШИ

СБОРНИК ПРОЗЫ

Вологда. 1999

*Редакционная коллегия*

Р. А. ВАЛАКШИН  
Ю. М. ЛЕДНЕВ  
В. В. ПАНЦЫРЕВ  
В. А. ПЛОТНИКОВ  
И. Д. ПОЛУЯНОВ  
А. А. ЦЫГАНОВ

*Оформление*

Э. В. ФРОЛОВ

## *Вместо предисловия*

*Почему так рано умер Василий Макарович Шукшин? Никто, кроме Бога, пока не знает. В «российской» общественной атмосфере витают слухи о его насильственной смерти, но, как говорится, не пойман не вор. Ворами на Руси раньше звали убийц и разбойников, предателей и врагов. А врагов у Шукшина было много, явных и тайных, причем врагов серьезных...*

*Зная обстоятельства, кои окружали моего друга в последние годы жизни, я склонен думать, что дыма без огня не бывает, что рано или поздно люди узнают истинную причину шукшинской кончины, как узнали они истинную причину смерти Сергея Есенина, случившуюся в Ленинграде в 1925 году.*

*Когда привезли мертвого Василия Шукшина в Москву, то властями было обещано самое тщательное обследование в институте им. Склифосовского. Не сделали они ничего! Почему-то ограничились поспешным волгоградским медицинским заключением. Автор этих строк беседовал позднее с патологоанатомом, подписавшим это заключение. Беседа произвела весьма противоречивое впечатление. Четко присутствовал в словах врача термин «интоксикация». (Ссылка на кофе звучала смехотворно). Волгоградские друзья рассказывали, что во время вскрытия собралась вокруг чуть ли не толпа посторонних людей, не имеющих к медицине никакого отношения. Вероятно, это были будущие «демократы»...*

*Если судьба подарит мне еще хотя бы несколько лет, то я, наконец, сумею написать подробные воспоминания о нашем дорогом друге Макарыче, как мы с Анатолием Заболоцким звали Шукшина еще при его жизни. Образ его, и поступки, и характерные жесты до сих пор в глазах, до сих пор звучит его глуховатый, не забываемый по интонации голос.*

*Что мешает приступить к работе над воспоминаниями сию же минуту? Это необъяснимо, хотя я и пытаюсь иногда объяснить смутным ощущением преждевременности, еще не созревшей необходимости моего разговора о В. М. Шукшине.*

*Скорее всего тут я не совсем прав, поскольку ничего важного нельзя откладывать, надо успевать, как всегда торопился В. М. Шукшин.*

*Вот и конкурс короткого рассказа мы тоже, как мне кажется, провели в спешке, несколько сумбурно. И книгу отобранных лучших, на наш взгляд,*

рассказов издать торопимся, пока есть финансовая возможность, потому что, кто знает, что будет со всеми нами не через месяц, не через год, а просто завтра.

Эта возможность издать сборник вполне может исчезнуть. Потому, дорогие читатели, не судите о нашем выборе слишком сурово, как судит Ирина Ракиш В. М. Шукшина: «Шукин ушел вовремя, взяв предельную планку собственной высоты». («Н. С.», 1999 № 1 стр. 200).

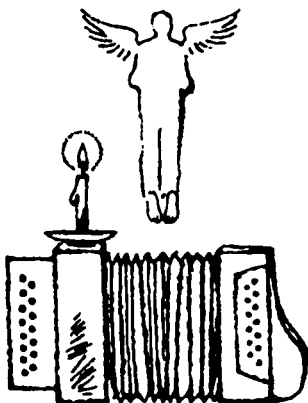
От таких «доброжелательных» критиков, которые пишут больше всего о себе, Шукин, может быть, действительно ушел вовремя... Но то, что он умер в полном расцвете творческих возможностей, и что «высота» его была далеко еще не исчерпана, в этом у меня нет никакого сомнения.

**В. БЕЛОВ**

# СТАНИСЛАВ МИШНЕВ

*Вологодская область  
д. Старый Двор*

---



## ПОСЛЕДНИЙ МУЖИК

Онучин умер накануне Великого поста. В последнее время он страшно похудел и изменился в лице. У него болело все тело, ломало суставы, но он воображал, что выздоравливает, потому тщательно брился, смотрелся в зеркало, нетерпеливо ворочался в постели. Под конец стал очень разговорчивый, говорил тихо, через силу, тяжело дышал, вспоминал покойную жену Агафью, просил у нее прощения, жалел убитого парнишку, сына бандеровца, обещал наделать бабам к сенокосу грабель.

Горела утренняя заря, над зубчатым лесом медленно поднималось солнце, радостное, изумленное, как дитя малое. Воздух был спокойный, затаенный. Природа вчера, как в последний раз, вдохнула мороз, а под утро выдохнула изморозь – шевельнулась под снежным тулупом мать-земля. Сквозь стекла пали на стол, на таль-

янку, на лежащего Онучина лучи, окропили позолотой. Кошка, встревоженная непонятными ей переменами, то просилась у дверей на улицу, то сжималась на полу клубочком. Никто не видел, как умирал Онучин. Явился ли к нему ангел и благопристойно попросил следовать за ним, или судорожный дьявол, хохоча, подхватил железным крюком его душу...

Он лежал навзничь на большой деревянной кровати под старым ватным одеялом из синего ситца в пестрой рубашке с расстегнутым воротом, уставив в потолок неподвижные, как бы шальные от изумления глаза. Бритое до синевы лицо, острый нос, скрещенные смиренно руки.

На деревне топились печи, сизый дом поднимался сажен на двадцать ввысь, уходил замысловатыми кружевами на север. Жизнь, простая человеческая жизнь продолжалась в раздумьях и хлопотах.

Пришла Наталья, двоюродная сестра Онучина, прямая и высокая старуха, сняла у порога валенки, полезла на печку за теплыми обутками. Охнула раз-другой, пока их достала, попутно незлобиво отругала кошку, что лезет под руки, разделась, стала затоплять печь.

– Василе-ей, – нараспев сказала она, – седни как, отвалило, не давит грудь? Сердишься? Ну посердись, на сердитых воду возят... Я вот седни сон смешной видела. Помнишь, ты лошадей гонял, когда с Иваном нашим за рекой до войны жали? Народику – ну как наяву, гужом, и девки незамужние, и бабы, всех вижу. Как бы на Ильин день, по приметам. Сарафаны на всех баские, бабы веселые, так счастливы, будто весть услышали, что война проклятая кончилась... Иван-то в лазоревой рубашке с закатанными рукавами, а мать твоя, покоенка, как бы от реки заходит, из цела, рожью идет. Вот подходит, лошадей останавливает, а у самой в руке пук крапивы с корнями надран. «Васька, – кричит на тебя, – ты чего это, паскудник, за Натахой в бане подглядывал?» И давай тебя по голым ногам крапивой жалить... Васи-ле-ей, спишь, что ли?..

Кольнуло под сердцем Натальи: уж... Подошла торопливо, склонила голову к плечу, охнула. Перекрестилась, прикрыла синие глаза красными рубцами век. Взяла с табурета тальянку, прижала к себе, запричитала:

– Отыграл, Васильюшко-оо...

Страшно ей стало, тоскливо; рушилась жизнь, уходила из деревни. Смерть, безглазая ведьма, прятаясь в пустующих избах, махнула своей косой, как знать, чья теперь очередь.

Осиротела деревня народом: из сорока шести домов в пору былого величия ее только на сенокос выходило до ста человек, а ныне полуживых старух колготится пятеро, Онучин был шестым. Последним мужиком. Бредет Наталья по деревне, так и хочется закричать: «Эй, мужики? Эй, бабы! Куда вы все подевались?.. Выходите на деревню, дорогу протопчем, ведь занесло до крыши!» Не аукнется народ, нет его. Старшее поколение на бусле лежит, молодое в городах о машинах хлопочет. Обошла Наталья товаров, донесла им горькую весть. Всем миром пошли к Онучину, как ходили в последние годы по всякой надобности. Осторожно ступали за порог, подходили к кровати, смотрели. Уселись около него, стали думу думать.

Лежал перед ними не дряхлый старик – отдохнуть прилег Васька-гармонист, удалой да пригожий, на жизнь способный. Девок любил страсть как, баб – пуще того. Председателем колхоза был – каждое бревно по нему проехало, везде поспел, ко всякому ключик имел.

Строгий был да отходчивый.

Кажется, сядет сейчас на кровати, обедеет шальными глазами всех и каждую наособицу, к тальянке потянется.

– Закислолись, девки? Что нам тужить, когда не хрен прожить! Запевай, Егоровна!

Себя не обманешь: не вернется молодость весенней птицей, не растянет Васька тальянку. Тугая на ухо Марья обронила, что мужик ее, Иван Прокопьевич, перед смертью два гроба сделал, себе да и ей. Коль Онучин раньше убрался – отдает домовину ему.

Нет к деревне следа, нет проследья. Почтальонка ходит на лыжах, когда ей прикахнет. Дунул ветер да спутал провода – сиди при лучине неделю-другую. Нет мужиков, некому могилу выкопать, не на чем на буево свезти.

– Бабы, стесняться нам друг дружки нечего: соборовать надо. Давай-ко Василья помоем, переоденем в чистое, – сказала Егоровна, самая сильная и решительная из старух. Егоровна еще держит

корову, сама баранов режет. Засуетилась Парасковьюшка, сухой оцепок, достала из-за пазухи псалтырь, прокашлялась, хотела прочитать что-то, да Наталья махнула рукой: не время еще.

Онучин, Онучин... загадывал ли ты когда, что тебя разденут свои же деревенские бабы, с коими ты жизнь прожил рядом, изучат твое тело самым бессовестным образом, вымоют, полотенцем оботрут, как беспомощного какого, и оденут, наперекор смерти, в красную молодецкую рубаху?.. Любил Онучин жизнь, ой, любил! И пил, и гулял, и дело вел, ненасытный был до жизни. Поговаривали, что жена его, робкая и застенчивая Агафья, через эту любовь в доски ушла раньше времени. Так это или нет, один Бог знает да Наталья немного.

Чужая баба для него была слаще меду, чужой сарафан и пахнет приятнее. Наталья помнит, как, будучи пьяным, бранился и рычал, бросался с кулаками на Агафью, тогда она молила Пресвятую деву, чтобы отняла она у Васьки-гуляки мужскую силу. Прошло время, перебесился Онучин, на могиле жены хлестался, прощения молил, а жизнь-то боком да боком, будто и не жил. Полюбовник он был скрытный, за что уважаем подружками. Другой мужик и не поймал, да ощипал, а за Онучиным такой славы не водилось. Этим он поселял в некоторых вдовушках ревность, желание отбить его, как навыхвалку...

– Подойди, птичка моя, – говорит Онучин. Стоит у свежесметанного зарода сена, распаленный, кряжистый.

– Подойди! – шепчет страстно.

Глаза горят, в лицо кровь бросилась.

– Вот еще, – играет с ним Авдотья.

– Ангел ты мой единственный... Век бы тебя на руках носил, голубка сизокрылая, – голос тихий и вместе с тем исполненный какой-то демонической власти. – Ночи через тебя не сплю, как представляю, что ты на моей груди...

– Ночи он не спит... а от кого Шурка родилась?

Божится Онучин, клянется всеми святыми. Авдотья как не слышит, подняла гордую головку свою, усмехается. Лестно ей, что такой мужик перед ней половиком расстилается, лестно и боязно: как да с сенокоса не все ушли, как да кто в кустах стоит, слушает?..

– Зазнобушка, иссушила меня...

Авдотья старается не смотреть на Онучина, ступает мелкими шажками к нему. Привлек к себе, и она, кроткая овечка, задрожала вся, ласки ждет.

Целует в голову, в шею, сжимает в объятиях. Качнулось небо в глазах Авдотьи, зажмурилась в истоме, подогнулись ноги...

Положили Онучина на кровать, смотрят на стены, на пустую божницу, на комод, точно запоминают, где что лежит, где что висит.

– Дожили до тюки: нет ни хлеба, ни муки, – печально говорит Парасковьюшка.

Марья вытягивает лицо: не слышит, о чем речь.

– Девки у него сами уж бабки, разве приедут?.. Телеграммку бы отбить. Испият дом, а жалко...

– Испият, нынче модно ломать, не строить. Боюсь я, бабы, этого. Будто нутро выворачивают...

– Им что, анкаголикам, – говорит Егоровна, – у Кузьмичовых ломали, так будто Мамай воевал. Одежку из сундуков вывалили, топчут, Катерины исподки на себя примеряют, гогочут. «Эй, вы, говорю им, собаки!» А тот, рыжий, топором давай посуду бить, рамы пинать, и все на меня оглядывается, похвалы ждет...

– Не заводили, не ставили, душа не сболит. Насколько же народ обурел, по дрова в лес не поедем, лучше пятистенок пилить, – говорит Наталья.

– Почитать, может? – теребит псалтырь Парасковьюшка.

– Ночь-та твоя, начитаешься, – грубо говорит Егоровна.

Много хлопот доставил им Онучин. До кладбища – шесть километров, опять к алкаголикам идти на поклон...

– Придется самим, – говорит Егоровна.

– Пустое несешь, – возражает Авдотья, некогда румяная да статная, нынче – яблоко сморщенное. – Ты-то, может, еще и коренник, а какие из нас пристяжные...

Егоровна исподлобья смотрит, щурясь, пренебрежительно говорит:

– Тебе ли скудаться, Овдошка, ты ведь на четыре года меня моложе.

– Моложе, да, – качнула головой Авдотья, – счет не по годам веди, по зубам.

Смеются старухи: у Авдотьи во рту один клык желтый, у Егоровны – железные протезы.

– Полы вымою, приберу, а там как Бог положит. Вот, бабы, что кошка, и та беду чует. Гля, раньше все в ногах у Василия комалась, теперь под лавку юркнула. Пушка, Пушка, иди ко мне, – говорит Наталья.

– Чего свечу-то не ставите? – спрашивает Марья. – Тяжело он с белым светом расставался.

– А ты почему знаешь? – кричит ей на ухо Егоровна.

– Болел долго, – отвечает печально скромная Марья.

– Поставим-ко, бабы, и свечу, и самовар да чайку попьем, будто и Василием с нами столовается, – предложила Наталья.

– Тогда я за вином сброжу, – говорит Егоровна. – Надо при жизни истребить нажитое, чтобы не тужить на том свете.

– Ой ли, – со страхом сказала Парасковьюшка, – трех ден не прошло, грех.

– Домой? – тревожно спрашивает Марья поднявшуюся Егоровну.

– Сиди-сиди, – щелкает себе по горлу. – Помянем!

С уходом Егоровны всем стало не по себе. Егоровна была становой жилой деревни, опорой. Все настолько привыкли, что она будто мать над ними, редкий день кто проведет без нее. Егоровна не боялась никого и ничего, она даже прокурору Силинскому вlepила затрещину, когда тот на празднике распустил лапы. Прокурору!

– Тальянку в музей отдадим, один парень приходил и денег давал, и пугал, что украдут, – сказала Наталья.

– Ну уж нет! – запротестовала Авдотья. – В голова поставим. Захочет Василием растянуть – она под рукой.

Старухи не могли удержаться, заревели. Авдотья стукнулась головой о дужку кровати. Пили какое-то заграничное вино, вкусом – клоп раздавленный, пили, как могли. Кто – по глоточку, кто пригубил только. Расстегнула Егоровна кофту, поправила тяжелые груди, сказала: «Ну, дроля, играй, плясать пойду. Споем напоследок нашенскую!»

– Как полоску Маша жала, золоты снопы вязала, ээ-еех, молодая-а!  
– День-то какой, знамение тебе, Василей, – глянула в окошко Парасковьюшка.

– До чего же ты под старость набожная стала, – хмыкает Егоровна, толкает под бок Марью. – Расскажи-ко, как в ваш колодец Парасковьюшка чурку опустила.

Марья смеется, начинает рассказывать сто раз повторенный рассказ, оборачивается к Онучину, призывая того в свидетели. Молчит Онучин, нет ему дела до бабьих сплетен.

– Ты-то праведница, – поджимает губы Парасковьюшка. – Не с тебя ли Онучин мешок с колосками снял?

– Нашла чем попрекнуть! Да за это я ему в ноги поклонилась потом, что деток сиротами не оставил. Перестань, не со зла я... Расскажи-ко, Овдошка, как с Онучиным сено метали!

– Господи, – изумляется та, беспокойно ерзает, – веком, бабы, не бывало, вот те крест.

Много кой-чего помнят эти старухи, все поведать – жизни не хватит. Вышла на небо луна, огляделась, прихорошилась. Насколько глаз хватает, разлито серебро свадебное, плавают в том серебре легкие тени заборов, деревьев, стогов соломы, блестят крыши черных домов. Бежит лисица, принохивается. Теплится свет в окне Онучиных, стоит в головах покойника большая свеча, дрожит на ней прозрачное копьё.

Спит на стуле Парасковьюшка, выпал из рук ее псалтырь, рассыпались почерневшие от времени листы по полу.

Утром провожали в дорогу Егоровну. Лыжня чуть заметна, до жилу брести да брести.

– Ну, подружки, коль дойду – трактор пригоню, нет – на мороз выносите. Когда-нибудь да кто-нибудь вспомнит о нас. Марья! За коровой вникай!

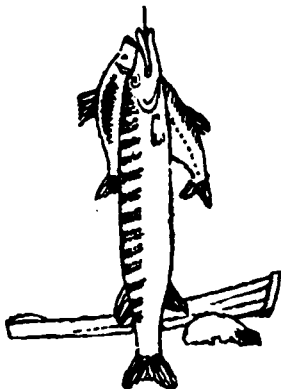
Неловко ступила шаг, оперлась на палки, другой – качнуло малость. Устояла, потыкала снег палками. Пошла.



# ЕВГЕНИЙ ШИШКИН

г. Нижний Новгород

---



## У КОСТРА

Тихо потрескивали в костре сосновые сушины. Тусклый ленивый дымок не хотел подниматься в сумеречное небо, стлался по земле, плыл над пологим берегом к дремотному водополю. Над рекой уже сизоватый светлый туманец, он замутил очертания противоположного берега – слились там в единую зеленую полосу и ясеневый куст, и низенький тополек, и плакучая ива. Безмолвен вокруг прибрежный лес, посерел, притаился, и только осинам, что ближе к нам, нет покою – тревожит их колышущееся пламя костра. Сейчас было славное время для рыбалки: радостно на душе, когда в вечерней тишине да прохладе разбегутся от поплавка волнующие круги, струной вытянется леса, а тонкий конец удилица упруго мотнется к воде. Но рыбалка для нас уже кончилась, двое суток мы почти без продыху отдали ей, а теперь, поужинав напоследок ущицей, расслабились перед обратной дорогой.

Сколько ж мне тогда было? Лет десять, одиннадцать – не больше...

По одну сторону от костра на старенькой плащ-палатке лежал дядя Ляня, в ватнике, в брезентовых брюках и резиновых сапогах с загнутыми голенищами. В руке он держал потухшую папиросу и время от времени засыпал, но потом вздрагивал и резко открывал глаза. Это он, дядя Ляня, прихватил меня с собой на рыбалку, пообещав родителям вернуть меня целым и невредимым. По другую сторону, боком к костру и к дяде Ляне, сидели на березовом бревне Володька и Борода. Володька недавно отслужил срочную и еще не устроился на работу – отгуливает положенный дембелью срок. Парень он добрый, простой, хотя много матерится и на мелкоту вроде меня грозно цыкает, а порой и врежет в лоб армейский «фофан-щелчок...

– Жениться не торопись, – говорит ему Борода. – В этом деле чем позже, тем лучше.

– Я и сам знаю. Мне пока девки и так дают... – рассмеялся Володька.

Борода его смех поддержал, говорил по-прежнему нешуточно и тихо:

– Для семейной жизни надо сперва ума набраться, опыта, чтобы потом голова не пухла. А то женишься да покаешься – какая уж жизнь...

Голос у Бороды был приятный, ровный и всегда грустный. Мне почему-то казалось, что это из-за его густой окладистой бороды, какой-то древнерусской и очень черной. Да и сам он был как-то слишком смугл. Сколько лет ему, я не знал, слышал, что он вроде еще молод, но по мне – старик да и только. Он был сутул, худощав, ходил медленно, чуть переваливаясь с боку на бок; сигарету держал всегда большим и указательным пальцем, а прежде чем выбросить ее, обязательно плюнет на огонек. Челка у него часто падала на лоб, прятала смоляные брови и прикрывала глаза, но он редко поправлял ее, или поправит, а она тут же упадет обратно. На нем была красная фланелевая рубаха, а поверх – серая овчинная безрукавка с деревянными палочками вместо пуговиц. Все звали его Бородой, и лишь я обращался на «вы», только на «вы», потому что все время забывал его имя: то ли Вадим, то ли Владислав, то ли Вениамин, – Бог его разберет.

– Самое главное – по любви не женись. Мученье это, – негромко продолжал Борода. – Я ведь только потому хорошо и живу, что без всякой любви женился... Встретится тебе девка нормальная: покладистая, работающая, без придури – ту и бери. А любовь – это забава... Не для совместной жизни.

Борода повернул голову, убил комара на своей шее, бросил на меня случайный взгляд. А мне стало страшно: вдруг рыкнет сейчас: чего подслушиваешь? Но он ничего не сказал. Взгляда его я всегда побаивался: злой он у него или добрый – понять трудно. Да и большой молчун этот Борода: часами можно не услышать от него слова, и только вечером, у костра, когда немного выпьет, начинает говорить – и то неподолгу.

– А когда она, жена-то, – снова услышал я мягкий голос Бороды, – спрашивает: любишь ли ты меня? – я ей не отвечаю. Поцелую, поглажу и разговор на другое перевожу. У нее и обиды ко мне нет, и я ее не обманул... Любовью только жизнь усложнять...

– Ты чему там парня-то научаешь? – окликнул его дядя Леня, приподняв голову.

Борода и Володька повернулись к нему. В лице у Володьки растерянность и даже стыд, словно застали его в каком-то неприличном виде, а Борода спокоен, неизменен, и на слова дяди Лени отозвался вопросом:

– Ты, Леня, как женился? По любви?

– А как же еще-то? Разве еще по-другому женятся?

– А ты жену свою бьешь? – спросил Борода.

Дядя Леня усмехнулся, полез под кепку почесать затылок, потом прикурил от сосновой головешки свою папиросу. Володька, приоткрыв рот, пытливым взглядом водил глазами: то на дядю Леню взглянет, то на соседа.

– Было, чего греха таить... Как-то раз здорово всыпал. Я с похмелья был, злющий, а она у меня водку в поганое ведро вылила.

– Ишь, как вы друг друга! – не то чтобы обрадовался, а просто отметил Борода. – Это ведь тоже из-за любви. Над любимыми всегда измываются: ревностью мучают да претензиями. А вот если человек человеку безразличен, он не обидит: и водку не выльет, и бить не будет. Без любви человек свободен, а с ней он... пропащая душа.

Борода не спеша поднялся с бревна, плюнул на свой окурочок и, чуть покачиваясь, в высоких болотных сапогах, направился к реке; там у берега, уткнувшись носом в осоку, прикорнула в тишине некрашенная лодка-плоскодонка.

– Чего это он все о любви да о любви? – негромко спросил у дяди Лени Володька.

– У кого чего болит... Вешался он из-за любви-то. Девка его из армии не дождалась, – почти равнодушно ответил дядя Леня, поднимаясь с плащ-палатки. – Два раза вешался. Первый раз его мать успела из

петли вытащить, второй раз сосед углядел... Повезло – откачали. – Дядя Леня зевнул, потянулся, потом стряхнул со своей подстилки налипшую рыжую хвою и устало досказал: «По молодости-то он совсем другим был. Веселый, речистый, в клубной самодеятельности песни пел. Это он теперь в тридцать четыре года стариком кажется. Подломило...

Борода тем временем сидел на корме лодки, неподвижно, будто и неживой. В серых сумерках чернела его голова, склоненная книзу, краснели рукава и ворот рубахи, и была видна сбоку его сутулая спина в овчинной душегрейке. То, что был он когда-то другим, безбородым и веселым, молодым и общительным, я ни в жизнь не мог представить, а еще труднее было понять: как же так: два раза вешался и остался жив?

Борода вернулся к нам, когда почти все было готово, чтобы тронуться в путь, но на свою поклажу он даже не посмотрел, а в затухающий костер подбросил сушняку.

– Зачем ты? – недоуменно сказал дядя Леня. – Уходить время.

– Я еще на день останусь, – ответил Борода, не поворачиваясь к нему. – Отгул у меня есть, приеду – задним числом оформлю.

– Брось, поехали, – подозрительно смотрел на него дядя Леня. – Дома искать будут.

– Не будут, – тихо возразил Борода. – Привыкли.

Он простился с нами сухо, руку никому не подал, и не успели мы уйти, сел на бревно, подпер голову кулаками, уставился на костер и весь как будто одеревенел, отстранился от всего мира.

Мы уходили по узкой просеке, тянувшейся на бугор. Я часто обращивался, старался разглядеть между деревьями красную рубаху и черные волосы Бороды.

К тому времени я еще мало верст отшагал по земле, но все-таки понял, почему он остался у костра, о чем думает, когда смотрит на пламя и на ленивый дым, который жмет к росистой траве и вливается в туманное облако над спящей водой.



# ОЛЬГА КУЗНЕЦОВА

*г. Вологда*

---



## ВЕРТОЛЕТНО ДЕРЕВО

Бабка Степанида высока, худа. Длинное немаркое платье, неизменная, когда-то еще в девках коричневая, а теперь выцветшая до рыжего жакетка. Темное лицо по-детски весело. На любое дело бабка еще скоро, а особенно – на ногу. «Вертолет» – кличут ее за глаза. Но девяностолетний возраст, конечно, сказывается. Скажем, заберется Степанида на печь, а внизу невестка хозяйничает, готовит чего или посуду моет. Шустрая невестка у Степаниды, говорливая. На пенсии уже, но работает. И вот бойкотом, со смешком рассказывает она всякие разные случаи, что в магазине или у нее на работе приключились. Юрким колобком вертится Зойка на просторной кухне и говорит, и говорит. А с печи-то – ни гу-гу. Заметит наконец это Зойка. «Эй, мам, – спросит, – чего молчишь-то? Али заснула? Так ты не спи, ночью-то опять не заснешь, искрутишься, извздыхаешься и нас изведешь». Но с печи опять ни звука.

Зойка и станет будить бабу, дергая за старушечьи ноги, одетые в простые чулки. А старуха – опять молчок. «Уж не умерла ли, часом, мать?» – загоношится Зойка. И заголосила бы испуганная невестка, да вовремя додумалась подставить табуретку и заглянуть на печь, где, не ожидая никакого маневра, не успел зажмуриться хитрый бабкин глаз. Уж тут и святой бы не выдержал. Заругается Зойка на старую:

– Ишь ты, шутница! Интересно тебе: как умрешь, так испугаюсь я или обрадуюсь. Да я сорок лет тебя терплю, и не надеюсь, не заплачу!

А бабу Степанида, довольная проделкой, Зойкиным испугом, сидя на печи, уже что-то с невинным видом врет:

– А я что? Я не чую, что меня зовешь. Прикорнула, видно. Чего-то в сон тянет...

– Разморило тебя, поди-ко, на нетопленной-то холодной печи... – не удержит опять своего языка Зойка.

Но чует ли это бабу Степанида, ей уже не узнать. Быстроногая старуха уже и с печи слезла, и не одними дверями хлопнула и, не закрыв за собой калитку, несется к подружке своей, соседке, сказывать, как она «умерла», а Зойка-то ведь и заголосила, заревела: пожалела старуху, значит. Вот тебе и невестка! Любит присочинить скорая и на язык бабушка.

Шустрая бабу Степанида, да этим летом всех она удивила. Как-то утром сказала сыну:

– Михаил, сделай-ко мне посошок. Палку подходящую найди да построгай.

– Зачем тебе посошок-то? Или летать тяжело стало, или ноги болят?

– Да нет, милой, ноги-то еще ловко бегают, да сам посуди: лет-то мне уже девяносто один, а я все без батога. Людей неудобно. Скажут, мол, старая, а без палочки...

Не знаю, как там было на самом деле, но Зойка в магазине, и в своей кастелянтской, и когда коз встречали, именно так рассказывала.

– Вертолет на палочке! – смеялись в магазине.

– Неудобно ей, – Зойка и сама удивляется своей свекрови, – Так ведь она того же дня на стогу у нас стояла. И без всяких там палочек сено укладывала, утаптывала – только подавай, Михаил.

А палочку сын присмотрел, уважил старуху. Зацепил взглядом деревце, что среди других вырубленных и выкорчеванных лежало у чьего-то огорода. Отмахнул макушку и окорил. А под руку удобно при-

шелся комель, корешок – круглая набалдашина получилась. Просушил он палку в тенечке, чтобы не растрескалась, только тогда бабушке и вручил.

Бабушке посошок понравился, и она всюду стала появляться с ним. Вот только опираться на него забывала и носила перед собой – то ли скипетр, то ли маршальский жезл...

Только ее палка и могла бы рассказать, отчего бабка Степанида умерла. Поставила батог у лесенки на чердак да и упала. То ли оступилась, а то ли сердце или еще какая жилка не выдержала.

Услыхав шум, Зойка, что дома была на выходном, выбежала, увидела лежащую на спине старуху, да та только «три раза и вздохнула-то». Похороны и поминки справили достойные. Зойка и ревела, и причитала так, как не каждая нынче дочь. Степанида была бы довольна: приедет, лежала она в обитом зеленым ситцем гробу, как бы шутейно прищурясь. И никуда-то теперь не спешила.

Похоронили Степаниду Ивановну на поселковом кладбище, как казалось, с крайчику. Но уже через месяц со всех сторон пристроилось к ее холмику довольно много могил, обитатели которых годились бабке в сыновья, а то и во внучата...

А посох бабкин Витька – правнук ей будет – хотел приспособить под пугало, чтобы птиц от смородины отвадить. Сунул было палку тонким концом – падает, коковина перетягивает. Копнул тогда землю, засунул под дерн кокору, поутаптывал – стоит. Ушел он перекладину искать да, как говорится, гвоздя не мог найти. А потом Гошка соседский позвал на пруд за карасями. И увертолетили они. А потом заждило, да и август уж был на исходе: родители забрали в город. И не получилось у смородины пугала: не довел дело до конца Витька. Такой вот у Степаниды правнук. А палка, воткнутая Витькой у изгороди, так и осталась торчать. На следующий год, если кому дело было, тот увидел бы, что около посоха, как около пня, поросль появилась – листом и веткой длинноватая, будто ива.

Обратила внимание на эту поросль Зойка. «Надо бы козам обломать, нечего тут лес разводить», – подумала она так, да руки не дошли. Такая вот невестка у бабки Степаниды.

А вот открытие сделал все тот же Витька. Полез за зеленцами в огород, и как в глаза ткнуло – ничего себе, я бабкину палку в землю сунул, а от нее кусты выросли!

А через два года посох сам собой упал, отгнив у самой земли. А поросль, пущенная посохом, превратилась в высокие, в человеческий рост деревца, которые на четвертую весну неожиданно покрылись бутонами и зацвели.

– Яблоня! – ахнули все. А к середине лета по единственной длинноватой косточке внутри зеленого плода стало ясно, что это вовсе не яблоня, а... слива.

– Не вызреет, – говорил Михаил. – И яблоки-то у нас не каждый год бывают. А тут – слива. Где это видано, чтобы в наших-то краях – да слива! Не зря же прежний хозяин ее выкорчевал.

– А может, это какая-нибудь районированная, с какой-нибудь ивой скрещенная, так и вызреет, – защищала деревце соседка.

Весь июль и август ягоды повисели – за жесткой кожицей мякоть так и не появлялась. Кто пробовал, так долго плевался: эта еще кислятина. И только уже в пору бабьего лета с оставшимися на макушке редкими ягодами произошло превращение. Они вдруг набухли, раздались, кожица стала фиолетовой. И вкус стал ну не медовый, конечно, но такой, как у слив, что изредка завозили в поселковый магазин с далекого юга.

Лишь на третий год цветения сливы показали себя: пять корзин-бокочушек сизых плодов сняла Зойка, да потом еще соседи приходили, знакомые, собирали себе по бидончику-другому на компотик, на варенье.

А Зойка не жалела ягод да еще откапывала прутьшки, густо лезшие из земли. И все без разбору отдавала...

Через несколько лет Витька, приехав к бабке уже свежеиспеченным лейтенантом, идя по улице, вдруг услышал, как переговариваются из своих огородов женщины.

– Вертолетка-то не вымерзла у тебя?

– Нет, цвела! Цвету-то нынче много было, не знаю уж, сколько вызреет. Просили меня архангельские привезти для разводу им вертолетки. Свезу, надо попробовать, может, и там приживется.

Сначала не понял Витька, о чем речь, а как понял, так у парня чуть было слезы не потекли. И если бы не этот туман, не эта пелена перед глазами, так рассмотрел бы еще тогда Витька, что нет такого дома на улице, перед которым не росло бы приметное деревце высотой с человеческий рост с длинноватыми темными листочками – местная слива, вертолетка.



# АННА РАДЗИВИЛЛ

г. Санкт-Петербург

---



## ВЕРУНЧИК

В этом доме все вещи лежат на одних и тех же местах. Это единственный способ существовать одной, если ты плохо видишь. Верунчик гордо живет без очков. И достает их, только уж если надо что-нибудь написать: уверена, что очки старят и вообще уродуют женщину.

Ее всю жизнь звали Верунчик. Потому что она младшая. Младшая сестра моей матери.

Мы пьем чай. Она говорит, рассказывает, а я только слушаю. Никого больше не осталось на свете, кто мог бы мне рассказать все это.

• • •

— А ты знаешь, я ведь еще и сейчас могу выйти замуж... На пари, хочешь? Нет, ты не смейся... Вот совсем недавно, полгода

назад, как раз когда у меня началась глаукома... Один старичок, пенсионер, симпатичный такой, представь себе, сделал мне предложение! Я ему говорю: «Что вы, дорогой мой, зачем я вам? Вам нужна другая... Вам нужна такая женщина, которая привыкла всю жизнь быть замужем, крутиться по хозяйству. Вот у нее умер муж, например, дети выросли, ей теперь все время чего-то не хватает. Она будет о вас заботиться».

А он говорит: «Нет, что вы! Какая другая? Какая другая? Именно такая мне нужна, именно такая...»

Это смешно, но знаешь, я настолько отвыкла от семейных забот, от всей этой скуки, беготни... Ну зачем мне, например, готовить? Если хочется – готовлю, а надоест – пойду – вон напротив у нас прекрасная диетическая столовая – и поем. Вообще я сейчас даже спать не могу, если кто-нибудь рядом в комнате – запах носков, скрип – все раздражает.

У меня много лет был кумир, адмирал, Павлунчик. Я как-то показывала тебе фотографию, там мы с ним в Ялте. Ты помнишь, какой это был красавец? Боже мой, как я его любила! Боже мой! Но вот если бы даже он мне сказал сегодня: «Верочка, будь моей женой!» Н-е-т. Нет. У кого это я недавно прочла: «Живое чувство собственной независимости – вот в чем истинное счастье!» У меня уютная квартира, однокомнатная, но мне хватает. Пенсия. Пожизненная! Понимаешь? Театры, книги, филармония – это еще все мое, я еще могу этим наслаждаться. Мне повезло: я родилась и всю жизнь прожила в Санкт-Петербурге. Крестили меня в Успенской церкви. Ее еще называли Спас-на-Сенной. Бартоломео Растрелли строил! И Антонину, маму твою, тоже там крестили, только на несколько лет раньше. Теперь уж нет этой церкви, взорвали ее.

А я ведь даже в Отечественную войну не уехала, всю блокаду здесь...

В блокаду у меня родилась Наташа. Всего месяц я смогла кормить ее грудью. Потом молоко пропало. Всего месяц у меня была дочь. За ней умер Боренька, муж. На фронт его не взяли, он без очков вообще ничего не видел. Работал на заводе, а паек, почти весь, мне отдавал. Хотел, чтобы Наташа выжила.

Кирилл, его друг, первая моя любовь, писал нам с фронта: «Дорогие мои, держитесь, мы прорвемся!»

Кирилл пропал без вести.

Ты спрашиваешь, а что бы я стала делать, если бы вернулся Боренька?

Видишь ли, Бореньку я уже видела мертвым. Тут у меня надежды нет.

Но иногда я думаю: вот Кирилл... Ведь он пропал без вести. А вдруг он до сих пор жив? Ну ранили его, может быть, попал он в плен. А там, в плену, выжил. Могло ведь так быть? И какая-нибудь немецкая женщина пожалела его, полюбила, спасла. Он ведь был удивительный, благородный человек. После войны вышла за него замуж. И он прожил там всю жизнь. Ты же знаешь, многие ведь не возвращались из плена: здесь бы их посадили.

А теперь она умерла: лет-то нам всем, сама знаешь сколько... И вот – вдруг в один прекрасный день он вернется? У него ведь ни пенсии не будет, ни дома...

Я поделилась бы с ним своей пенсией. И какая разница, что в моей квартире всего одна комната, ну и что? Только бы он вернулся! Только бы он вернулся...



# ВИТАЛИЙ БОГОМОЛОВ

г. Пермь

---



## И ТОГДА Я БУДУ С ТОБОЙ

– Все мы начинали жизнь с одного напитка – с молока.

– Да, но мало кто им заканчивал...

– Дело, значит, было так, – начал свой рассказ гаражный златоуст Василий Архипов о том, как он бросил пить, – у меня день рождения семнадцатого, а день ангела – пятнадцатого. А я лет с тридцати пяти стал это в церковь похаживать в день своего ангела и свечку ему ставить...

– Сейчас-то тебе сколько? – спрашивают у Архипова.

– В этом году исполнилось сорок пять, – ответил он и покашлял в кулак.

– Свечку поставлю, помолюсь про себя: прости-де меня, ангел мой хранитель, и наперед помилуй, избавь от зла всякого, всех несчастий и

прочее. За рулем все же, сами знаете, всякое может случиться. Ну пришел в тот раз-то, поставил свечку, помолился, как всегда, все честь честью. Нищим возле храма подал нескучно. А ночью мне – сон. А может, видение? Не знаю. Вообще-то я сны никогда не запоминаю, а тут – как наяву все, до теперешней поры в глазах стоит. Будто бы явился ко мне ангел мой и повел меня за собою. И приводит в какое-то неземное место, вроде озерцо колыхается, но не вода, и такой жар от него пекущий пышет.

– Уж не спирт ли в озерце-то? – подначивают Архипова.

Он внимания на озорника не обращает и продолжает:

– И говорит он мне: сними сорочку. Я снимаю. Брось, говорит, в озерцо. Я бросил. Озерцо в том месте всколыхнулось легонько, и от рубашки моей только парок поднялся кверху, как дымок от спички, когда прикуривают, и все исчезло. Это, объясняет он мне, жидкий огонь вроде расплавленного металла. Так вот, за то, что ты пьешь (я тогда выпивал, если кто помнит, круто, – каждый вечер до потери управления), душа твоя, говорит он, будет после смерти твоей вечно терпеть такие муки, как терпело бы при жизни тело, когда б тебе в горло вливали расплавленное железо. Но тело что: хлебнул – умерло, и муки на этом кончились. А душа-то вечная. И когда сюда попадешь, то уж никто отсюда не услышит ни вопля твоего, ни воздыхания покаянного, которые слышны бывают только при жизни.

Я опять на этот огонь-то жидкий поглядел, как вспомнил, что с рубашкой стало, как представил, что пью эту оказию и бесконечно в страданиях тяжких погибаю, так душа моя, братцы, и вострепетала пленной пташечкой. И тут меня обуял такой невыносимый страх, такой ужас... Не передать это никакими словами. Не знаю даже, с чем это сравнить можно в жизни нашей. Не знаю.

Иди, говорит он мне, да не пей, и тогда я буду с тобой. Не забывай, что жизнь коротка, душа – вечна. Тут я и... то ли проснулся, то ли в себя пришел. Сел в постели ни живой ни мертвый. Короче говоря, буд-то с того света воротился, вырвался. Сижусь как обезумевший. Пошевелиться боюсь.

– А сорочка-то на тебе была? Целая? – поинтересовались у Архипова.

И тут рассказчик метнул на спросившего взгляд, исполненный такой силы, что задавший вопрос даже смутился. Архипов склонил голову и проговорил:

– Сказать – не поверите: не было.

Всем стало ясно, что Архипов не врет, но и поверить было действительно невозможно. Настала долгая пауза, обдумывали, как отнестись.

Наконец один усомнился:

– Так, может, снял?

– Сам так же подумал сперва было, хотя всегда ложусь в сорочке, без нее – никогда. Искал и в грязном белье, и в чистом. Жене ничего не говорю, боюсь, подумает, что крыша поехала у меня. Не нашел. Да и жена сама после меня долго допытывала, куда у меня рубаха делась...

– Ну ладно, что дальше было? – подталкивает его нетерпеливо другой слушатель.

– Дальше?.. Сижу и думаю: ведь завтра у меня день рождения; уж и вино и водка закуплены. Гости званные придут. Что же мне теперь делать-то? Думал, думал и решил: раз уж все так сошлось, то пусть будет, что завтра выпью последний раз в жизни своей. Решить-то решил, а сам боюсь: получится ли?

Он помолчал какое-то время задумчиво-сосредоточенно, а потом встрепенулся в восхищении:

– А вот все же что-то такое есть... Гости собрались, я их угощал, а сам-то не пил совсем. И никто (вот диво-то в чем!), никто не заставлял меня, будто и не замечали, пью я или не пью. Я был как за завесой спрятан. Вечер прошел. Все остались очень довольны угощением. А когда ушли, стал я над всем этим крепко-накрепко кумекать и окончательно постановил тогда: все, ни капли больше не приму! И вот с того дня не выпиваю уже восьмой год. Никакого тебе кодирования-закодирования. И жизнь, как-кая у меня жизнь пошла, братцы-ы!

Тут Архипов блаженно прищелкнул и замолчал. Восьмой год – это тебе не козел чихнул. Весомо. Вокруг рассказчика стало тихо, никто больше ничего не говорил, никто не спрашивал, все как-то сразу призадумались, словно бы каждый выверял характер, свою натуру: вот он так смог бы или нет?

Неподвижность и молчание тянулись довольно долго. А потом кто-то один выдохнул с чувством:

– Дда-а.

И этим распевным «дда-а» такое высказал, что добавить тут было уж нечего.



# АЛЕКСАНДР МИРОНОВ

*Калужская область  
п. Товарково*

---



## РУССКАЯ УДАЛЬ

Топотков расхаживал по кабинету. С самого утра у него не выходило из головы вчерашнее застолье. Он был приглашен с женой на день рождения: начальник жены справлял свое шестидесятилетие. Народ собрался разный и незнакомый, какой-то сдержанный, молчаливый. Чопорная публика. Правда, потом, когда выпили раза по три и уже не шампанского, немного разговорились, расслабились.

«Если месяцами не выходить на люди, поневоле забудешь, как вести себя в обществе. Теряешь опыт. Дичаешь», – философски подумал Иван Трофимович, остановившись у телефона. Хотелось позвонить жене, но он медлил. Что-то неясное томило душу.

Лучи солнца просвечивали сквозь редкую осеннюю листву деревьев за окном и, отражаясь от крашеного пола, зайчиками играли на потолке, стенах, на стеклянных дверцах шкафа, светились в противо-

положном верхнем углу. Веселая была комната – рабочий кабинет Ивана Трофимовича Топоткова. И соответствовала характеру его хозяина.

М-да... Вспомнилось, как после четвертого или пятого тоста он сам выдал здравицу. Одна дама даже в ладоши захлопала, и ее поддерживали. Иван Трофимович кисло усмехнулся, дернул уголком тонких губ и вновь заходил по кабинету.

Потом танцы начались. Под магнитофон, фирменный. Не танцы – дерганье. Дергались, кривлялись один перед другим как припадочные. Топотков, будучи помоложе, к таким разминкам относился терпимо, иногда и сам принимал в них участие. Но с возрастом начал стесняться. Что-то находил в них дурственное, неприличествующее людям среднего возраста, к коим себя уже относил. Но сейчас, куда ни глянь, везде паралитики: по телевизору, в кино, на дискотеках и вот, на гулянках тоже.

В детстве в школе был кружок художественной самодеятельности, и он в нем занимался. В нем тогда и научился танцевать вальсы. И-эх! – вот где полет, фантазия!.. Научился плясать «русского», «цыганочку». По крайней мере, ему так казалось. Иван Трофимович вдруг подпрыгнул, подбоченился и, отстучав чечетку, пошел по кабинету в пляс. «Та-д, та-д, та-та! Та-та-та-та-д, та-та!..» – аккомпанировал он сам себе. Эх, были ж танцы на Руси! Куда что делось? Куда?.. Даже пьянки ради редко удается сбачать. Эх, эх, эх-ма! Иван Трофимович остановился у двери, вздохнул полной грудью и рассмеялся.

Всюду, где б ему ни доводилось гулять в компаниях прежде, всегда испытывал он пламенное желание сплясать, станцевать нормальный танец под нормальную музыку. Душа так и рвется из груди птицей. Так и хочется топнуть ножкой. Но не танцуют теперь, не пляшут – сплошные папуасы. Правда, вчера маленько подергался.

– Вытащила, гиббониха! – незло ругнулся Иван Трофимович на женщину, которая пригласила его на групповые припадочки под черт-те что. Отказаться было неудобно: это была та, что в ладоши хлопала.

Думал, так и пройдет все веселье – в кривляньях и рокоте магнитофона. Однако появился баянист, и разом вечер изменился. По крайней мере, для него. Вот тут он отвел душу. Выдал им по всей форме и «русского», и «цыгана». И-эх!.. А эти вихляют задами, дрыгаются, а под «русского» подстроиться не могут. Ноги словно шурупами к полу привернуты: туда-сюда, туда-сюда на одном месте. Ха-ха! Смех: свое, русское не умеют, а папуасам подражают. Стыдоба! Стыдобушка... Чапушек не знают. Или уж сановитость не позволяет? А он пел, и все покато катались. Ржали как лошади. Всех развеселил.

Иван Трофимович улыбнулся, почесывая кучерявый затылок. Все же душу томило смущение, было в его поведении что-то неладное. Но он уже вошел во вкус приятных воспоминаний.

Вот его тело вновь отпружинило вверх и мягко опустилось на согнутые в коленях ноги, и Иван Трофимович от двери к столу пошел вприсядку. Ах-ах-аха!.. У стола еще раз подпрыгнул, выбил лихо дробь и, уставший, довольный, остановился, опираясь на крышку стола. Фу-у... Красота!

От дурного предчувствия, казалось, не осталось и следа. Нет-ет, что ни говори, а вчерашний вечер удался на славу. Спасибо юбиляру! И здорово, что стал он на нем душой публики. Нет-нет, никогда буги-вуги не смогут раскрыть душу русского человека. Никогда! В вальсах, в плясках, в частушках она живет. В них, едрена корень! Забили, забарабанили дуристикой: бум-бум по мозгам... И на тебя же еще смотрят так, как будто ты питекантроп пещерный. Дурак малый, нашел, мол, что выкинуть... Это, знаете ли, теперь не в моде. А коли не в моде, значит, ты какой-то несовременный. С поздним зажиганием. Кто там еще плясал? Так, один-двое. А остальные? Посмеивались, в ладоши хлопали. А он, круженный, как только услышал гармошку, его будто бы кто подпружинивает или под зад горячих углей подсыпает. Не сидит на месте.

На Ивана Трофимовича нахлынуло смущение, неловкость за свое поведение. Вдруг и вправду он чудик?

Он вновь хотел было позвонить жене, узнать ее мнение на этот счет. Да не решился. Вдохнул с сожалением. И что он там вытворял? Жена, поди, от стыда из-за него стораает. Ведь все бабы с ее работы были.

Вдруг Иван Трофимович стукнул с досады себя по лбу и замер. Ноги у него подкосились, и он мешком осел на стул. Каррраул!.. Он вспомнил! Вспомнил, как лез к Кузьме Спиридонычу... целоваться!

– М-нн.. – замычал он, схватившись за голову. – Тьфу! Чтоб ты сдох!

Прошло минут пять в молчаливых страданиях.

Наконец Иван Трофимович поднял голову и, покачивая ею из стороны в сторону, с тяжелым выдохом изрек:

– Еще на кой-то хрен к себе позвал. И не одного, а всех! О-пу-пел-ел! – глаза его закатились. – Она же меня без соли съест!

Топотков знал за собой маленький грешок: как подохнет, так становится рубаха-парень с душой нараспашку – всякий раз да выкинет что-нибудь от простоты душевной. За что Вера Никитична уже не раз

его благодарила. То-то ему сегодня будет!.. Только сейчас он понял, что его томило. И вот отчего он не мог так долго насмелиться и позвонить жене. Ну, черт, допрыгался!

Все бы он мог себе сейчас простить. Даже лобызания с Кузьмой... Тьфу! – с Кузькой, прости Господи. Сейчас, поди, обтирается, подхихикивает, старый пень. Но то, что он от доброты душевной опять к себе наприглашал, – это уже черт знает что! Топотков помолчал и снова, как озарение, выплеснул:

– Дурак, ваша светлость! Вот где дурак так дурак! Таких век не видывал, – пухлые щеки его начал заливать румянец. – Да хоть бы пьяным был в стельку.

Он действительно не был пьян до беспамятства. Но расходилась душа, распахнулась, и не столько от вина стал пьяным, сколько от охвативших его веселья, радости. Под конец вечера он всех любил: и юбиляра, и баяниста, и гостей, – отчего и лез целоваться.

Уж если обнял человека да, не дай Бог, еще в гости к себе позвал – так уж все! Эх, народ, до чего же мы все огрубели, ни любви в нас не осталось, ни радости. Даже жена собственная не понимает. Тут ведь от души! Разве это дурно?

Но гостей-то ведь угощать чем-то надо.

Топотков поморщился и вышел в цех. Выпил два стакана газированной воды и, воровато оглянувшись – не видит ли кто, как он мучается с похмелья, – вновь вернулся в кабинет.

– М-нда... Погулял... Вот это влип, – раздумчиво проговорил он. – Жене позвонить надо.

Иван Трофимович не помнил, гостей он приглашал при Вере Никитичне или без нее.

– Нет, видимо, без нее, – вздохнул он. – Конечно, без нее. Теперь бы уж все провода оборвала. Ох, дубина!

Топотков все надеялся, что жена позвонит. Сам же не решался.

Он представил, как всей компанией вваливаются гости, разрумяненные с мороза, жизнерадостные.

– Здравствуйте! А вот и мы!..

Ивана Трофимовича подтошнило:

– Тьфу! Пошли бы вы все в баню! И где она была? Не могла чем-нибудь трахнуть по макушке! Хоть домой не ходи.

Стоп! Вот это мысль. А что если и вправду домой не идти? Созвониться с Верой и махнуть куда-нибудь в кино или так часов до десяти

погулять по улицам, в парке. Пусть те, у подъезда, посидят, померзнут. Ха-ха! Посидят-посидят и умотают. И хотя мысль была как будто удачной, спасительной, нравственная сторона ее задела Ивана Трофимовича. В ту же минуту восторг сменился нерешительностью, и палец, набравший номер телефона, медленно отпустил диск на последней цифре.

– Алеу, – услышал он знакомый голос с мягкими интонациями. – Иван Трофимович, смущенный и нерешительный, прикрыв трубку, хмыкнул. – Говорите, вас слушают.

– Это я, Верочка. Доброе утро, то есть день.

– А, добрый, добрый. Как ты там? – в голосе прослушивалось сочувствие.

– Да так, ничего... Я как там вчера? Перебрал, кажется? – его передернуло.

– Да нет. Ты очень даже мило вчера выглядел.

– Ты... Ты серьезно?

– Вполне. Давно таким не был. Душа всей публики. От тебя и сейчас все в восторге. Слышишь, привет передают...

Лицо Ивана Трофимовича засветилось от счастья, словно солнечный зайчик осветил его изнутри.

– Ага! Слышу! – воскликнул он. – Всем там приветик! Так что, сегодня опять гулять будем?

– Где? – уже сдержаннее донеслось до слуха.

– Так у нас. Я... Я ведь приглашал!

– Успокойся, Топотуша, – глухо сказала Вера Никитична, видимо, прикрыв трубку ладонью. – Они, что, думаешь, люди без понятия? Очень милый и деликатный народ. Ты, шельма, знаешь, кого приглашать, – и в трубке послышался добродушный хохоток.

Топотков тоже рассмеялся весело, с какой-то даже детской радостью, и подскочил со стула.

– А то б встретились, а? Такая компания! Такие люди!

– Успокойся, Топотуша. Это уже не смешно, – и в трубке запикали короткие гудки.

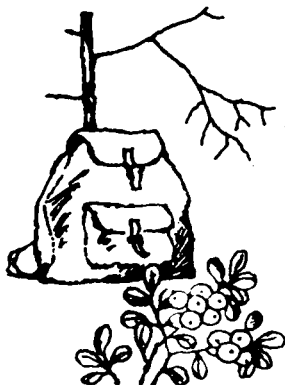
В душе у Ивана Трофимовича пело и плясало. И, хлопнув в ладоши, он вприсядку под «камаринского» пошел, пошел по кабинету. И-эх! Расступись, грязь, в пролетке князь! Покажем мы еще себя этим паралитикам. Что, думаете, съели русского мужика? Смотрите, как бы не подавиться.



# ЮРИЙ ОНОПРИЕНКО

г. Орел

---



## ЗА ЯГОДОЙ КРАСНОЙ КАК КРОВЬ

Царицы любили принимать брусничные ванны. Царь-ягода брусника растет на Орловщине только в хотынецких лесах. Как и те, что ей под стать: черника с голубикой да клюквой.

В середине августа мы кинули в рюкзаки по пустому ведерку – и на Хотынец. Оттуда к лесам – автобусишко грязный, до стона накачанный копошливыми людьми и наждачной пылевой взвесью.

Через пять минут где-то на задних местах взялась драка. Перепойный раздерганный шофер с монтировкой в руке выметнулся из кабины и дважды обежал автобус, бешено стуча снаружи по обшивке, потому как влезть в изжеванные задние двери и навести в салоне порядок попросту не смог.

Драка увяла сама по себе. С каждым из драчунов была провожатая, кинувшаяся разлюбезного закрывать от беды, давить в дру-

гой угол. Вой мотора, мутный ор, колдобины – привычная наша дичь, средь которой живем и плачем.

Доехали и вышли у знакомого колодца, сели у вóрота, закурили, дожидаясь, когда уймется стук в сердце и боль в душе. С нами выскочил один из драчунов, обманом бросивши свою героическую супругу ехать в автобусе куда-то дальше, к опостылевшему дому. Спросил спичку.

– Из чего схватились? – спрашиваем.

– А скучно, – недовольно роняет мужик, и папироса липнет к его угольным губам. – Надоел он мне. Скучно.

Собеседник еще молод, но той молодостью, которая сама у себя вызывает недоумение: вроде бы и срок ей далеко не вышел, а уж на лице ни одной свежей черты: и глаза, и лоб, и румянец безжалостно съедены жизнью. Рано стареют селяне... Впрочем, горожане тоже.

– Что нам и делать, если не зубы по-соседски считать, – парень косит равнодушным выцветшим взглядом. – Или как вон Митька колюкинский: «Пойду, – говорит, – ляжусь на краю, где брат пашет, посмотрю, отъедет мне голову ай нет». Пьяный, конечно. Отъехало... Темно же. Так гусеницей по башке и катануло.

Мы с приятелем содрогаемся. Картина и страшна, и обычна. Много таких историй можно услышать на русской сторонке. То в очередь с моста прыгают, зная, что внизу от старой переправы колы подводные, – кому жребий выйдет быть на сваю напоротым. То на самосвале вдоль травяного склона адского – опрокинусь, нет? Откуда в них та отчаянность вековая? От вековых бесправий? Оттого, что из-за глубинного бесправия русский сильнее, чем кто бы то ни было, подвержен глубинной же, непреходящей тоске-печали, сочащейся из каждой песни, из каждого поступка и движения?

Колодец таинственно и спокойно молчит. Мы тоже молчим. Мужичок бросает умерший окурок, откидывает колодезную дверцу, теплую снаружи и прохладную изнутри, сует в дыру свою разлохмаченную голову, что-то высматривает в глубокой, трезвой воде – и что-то находит, какой-то смутный отклик мыслям:

– Ума у нас просто нету... Хотя... – и опять почему-то заглядывает. – Хотя если ум, так еще хуже. Тут вон учитель один был,

толкушка вроде работала здорово, не то что у меня, книжки все читал, над речкой без удочки днями сидел – так досиделся, утоп.

– Что, утонул? – уточнил мой приятель, тоже учитель, с давно заметным мне болезненным волнением слушавший случайного собеседника.

– Как не утонуть, когда каждый день наши рожи перед ним...

Разговор получался все тяжелее и неуклюжей, словно продырявленная лодка, стремительно наполняющаяся водой.

– Чего вы, мужики, ахаете? – сочувственно усмехнулся парень. – Я-то с этим в автобусе боднулся не так просто. Сейчас скажу.

Он схватился за карман. Там скрипнула мятая пачка папирос; выхватил одну, самую ломаную, прикурил с трудом, с напряжением, судорожно вваливая при затяжках щеки и, словно решив исповедаться полностью, до конца, начал:

– Он же кавказей, фермер. Ну, зовут его кавказеем, хотя русский, наверное, только не с нашим нравом. Приехал три года назад откуда-то, на призыв-то наш обкомовский, помните? Ну, дали ему земли, коней, еще чего. Едет как-то над ручьем, а там брат мой уток из камышу домой выгоняет. И я по бугру к нему на подсоб. А тот кавказей – прямо на камыш. У нас ведь мелко все... Утки с кряком и перьями вроссыпь, а брат: чего, мол, пугаешь? А этот: «Я тут хозяин».

Ах, хозяин? Я с бугра как ударенный к ним скатился. Хозяин? Я, говорю, тридцать лет здесь живу и ни разу хозяином себя не звал, а ты... Пошел отсюда! Взявши был, конечно... А кавказей еще руку с плетью поднял. Ну, братик его в узды. Тот – плетью, тот – за ногу; покатались, и смотрю, кавказей брата душит. Бешено так, на смерть... У меня бешенства тоже в пазухе на любой случай сколько хочешь. Хватаю кол и того по спине раз, третий, тоже без тормозов.

В холодном колодце что-то глухо булькнуло. Родник близкий, лягушка-землянка или просто наша оторопь равнодушной воде передалась.

– Так ни колом, ни руками я его от братова горла не оторвал. Обоих потом отливал, а коняга в сосняк сигнула...

Сидим наутро дома на крыльце, у брата морда синяя, шея взду-

лась – а кавказей вот он, с кем-то еще таким же, только погромче. И тот громкий нам нож сразу прямо кажется: «Порéжу, мы хозяева, а ты пьянь». Не знаю, может, если б про хозяев не сказал, я б смирил всех, а тут опять бешь моя как ерш из-за пазухи прыгнула. С ножом – ко мне в дом? Без слов бросаю брата – и в комнаты. Они и мигнуть не успели, я опять на крыльце с двухстволкой. Пальцем на один ствол: «Эта пуля – тебе», – показываю на меньшего. «А эта – тебе», – смотрю на того «порéжу». «А потом, – говорю, – видишь вон лесок? Через пять минут отволокем вас туда – и ни одна милиция не найдет».

Эти кавказеи – да какие они кавказеи, у нас настоящие с Кавказа живут, нормальные, тихие, работают у себя без продыху, а эти с ножиком, – они сразу и осели. Теперь как иду мимо их двора – зверем над забором глядят. А я руку в карман, палец отклячу, вроде ствол торчит: у меня, мол, всегда с собой... А долго так буду? Дом ему, что ли, спалить...

Парень резко оборвал исповедь, сунул на прощание пятерню с изуродованными ногтями и поплелся мимо колодца по песчаной тропе к какой-то здешней престарелой родственнице привычно объяснять, почему опять пьян и почему не доехал до дома со своей законной супругой, которая, как он мельком бросил, хуже всех тех кавказеев вместе взятых, хоть в автобусе и кидалась грудью на его спасение.

Он шел по скособоченной лопушистой улице, метя пыль штанинами, усеянными несмываемыми масляными пятнами. Мы подняли рюкзаки, взяли свою зачехленную палатку, запотевшую от долгого ожидания хвойной прохлады, озоновой тишины и чистых вышшенных дум.

Через час мы были в лесу, в светлых сумеречных бликах. Под ногами у нас уже тихо ломалась брусника, безумно колдовская ягода, радостная от завтрашней утренней встречи с нами, заезжими ценителями ее редкостной красоты.

Боже, какая еще красивая земля! И какая горестная.



# ВИКТОР ПОТАНИН

г. Курган

---



## УСПЕХ

Помню одну стильную зимнюю ночь. С вечера тогда началась метель, и ветер трепал со злобой деревья, а потом ударил мороз. И какой! В такие минуты кажется, что никогда уж не услышишь веселого птичьего голоса, никогда не выйдешь на улицу в одной белой нательной рубашке, никогда уж не ступишь на зеленую травку-муравку и не увидишь речку под теплым августовским туманом. Одним словом, тоска. И сразу же хочется забиться на диван в самый уголок, подогнуть под себя колени и лежать в оцепенении, чего-то ждать и на что-то надеяться. Может быть, на какого-то веселого залетного гостя или на какую-то счастливую телеграмму, приглашающую тебя на белый пароход куда-нибудь в дальние изумрудные страны. Или... Да хватит уж – какие там страны. И в этот миг зазвонил телефон. Я нехотя поднял трубку. Звонили из моей

родной деревни. Голос принадлежал Владимиру Николаевичу, директору школы. С этим человеком я когда-то учился, да и потом наши отношения не прерывались. Вот и сейчас он говорил так, точно мы расстались только вчера.

– Слушай, Сергей. Я вступил в полосу везения. Успехи, одни успехи, даже голова кругом! А вчера, представляешь, выбил для своих за октябрь зарплату. А мы уж думали бастовать. Наш физик грозился голодовкой. И он бы сделал – настырный, как гвоздь. А теперь какая нужда! Но я к тебе за другим, – он прервался. В трубке что-то колебалось, потрескивало, наверное, мороз. Но вот трубка опять ожила:

– Слушай, Сереж, через неделю я именинник. Круглая дата, почти юбилей. Будут только свои, деревенские, и то по строгому выбору. Понял, Сережа? Приедешь?.. Ты понял меня или не слышно?

– Может, и приеду...

– Что значит – может, не может. Конечно, время нынче тяжелое, но мы по-скромному, по-студенчески. Есть в наличии домашнее вино и грибочки. А к грибочкам еще кое-что. Все это готовила мама-покойница. Вот так, милый мой... Год уже лежит моя мама в нашем борочке, а я все еще за ее счет. Повезло нам с мамой, царство ей там небесное... А у вас, значит, тоже морозы, Сережа? У тебя даже голос какой-то простуженный. Да-да, голос чужой у тебя, я заметил. Так что береги себя и жене подскажи, чтобы лучше тебя грела. Дошло? – И на этом голос прервался. Я подошел к окну. За стеклами клубилось что-то белое, злое, бескрайнее. Мороз, наверное, царствовал уже по всей земле.

Но все равно через неделю я сидел за его столом. А передо мной стояла высокая сувенирная рюмка, и там золотилось то самое домашнее вино. Хозяин, конечно, присутствовал рядом. Последние годы он очень сдал. Одно плечо у него как бы обвисло, а другое, наоборот, приподнялось, зато глаза все еще были молодые, ясные и поблескивали под электрическим светом, как яичная скорлупа. И голова его тоже походила то ли на яичко, то ли на бильярдный шар. Недаром в детстве его дразнили – Вовка-маленькая головка. И училась в школе эта головка так себе: ни шатко ни валко, но в

институт неожиданно поступила. И с тех пор Владимир Николаевич стал готовить себя к учительской жизни. И подготовил... Но мои мысли прервал его цепкий торопливый голосок:

– Вижу, Сережа, вино ты оценил. А грибочки? Такие, наверное, в Кремле подают на серебряной вилочке. Но у меня по-простому, ведь живу без хозяйки. Вот так... – он выразительно замолчал и погрузился в воспоминания. Наверное, вспомнил жену. Она ушла от него три года назад и взяла с собой дочку.

– Без хозяйки, Сережа, бывает худо, а с Ниной было б еще хуже. Я правильно употребил это слово – «хуже»? Ты же у нас филолог, еще осудишь, а я давно уж высказываюсь по-здешнему, да. А иначе не могу: разучился... Но я отклоняюсь, прости... А с Ниной мы расстались по-доброму. Не кричали, не драли волосы. Это по-нынешнему, считай, удача, успех, ты согласен? Конечно, согласен, ты всегда желал мне добра... А самое главное, Сережа, дочка постоянно мне снится. Вчера, понимаешь, трещит мороз, луна в окна просится, а мы плывем с ней на лодке, аха. И лето кругом, и река, и рыбки рядом взлетают, и вода такая чистая, голубая. Как небо вода. Проснулся, а дочка – во мне, она все время во мне, понимаешь. Мы же с ней словно бы не расстались. Так и есть – не расстались... Говорят, если снится река – будет удача, и все-все сбудется, что пожелал. Ты не веришь, Сережа? Или веришь – ну как?.. А неделю назад мне приснилось море, честное слово. Оно спокойное, синее – не охватишь. Только сверху, по воде, – небольшая волна. И на этой волне стоит дочка и кричит, машет ручками. А волна-то качает ее, качает. Хороша колыбелька! Говорят, что люди были дельфинами. Теперь я в это верю, я знаю... А потом вдруг ветерок – и дочка по волне полетела как перышко, и все быстрее, быстрее... И в этот миг я проснулся. А дочка – снова во мне. Веришь, как будто рядом лежит, смеется... Давай выпьем за это. За эти сны, за доченьку, за тебя... Я хочу, чтоб и тебе было легко, хорошо, ты слышишь меня, Сережа? Ну ладно... А моя Нина живет нынче с богатым. У них магазин, своя контора, машина. У ней все сбилось, чего захотела. Такой успех для нее – внезапно, точно гора упала. И даже в городе теперь живет, а не в деревне. Ты меня понимаешь?.. – его маленькая головка подвинулась ко мне

совсем близко, а глаза как бы распахнулись и нервно горели. Я подумал – ему стало плохо, но он вдруг стал меня утешать:

– Не завидуй, Сережа, богатым, не надо. И не считай у них денег, ну их... Да Бог с ними, проживем и без них. Они пускай – новые русские, а мы с тобой – старые, кондовые, аха? А ведь хорошо это – старые русские, и так складно, понятно! Ай да Вовка-маленькая головка! – он тронул меня за плечо. – Помнишь, Сережа, мое детское прозвище? Где оно, наше детство? Видно, уехало... – он замолчал, а мне стало почему-то тревожно. Ветер бил по раме, в комнате похолодало. Я поежился: мне ведь предстояло здесь ночевать. А еще через минуту я поймал себя на подлой мысли. Она была в том, что я жалел, что сюда приехал. И в этот миг он достал из тумбочки фотографию и поставил ее на стол.

– Это, Сережа, моя мама. Всю жизнь в колхозе, даже заведовала фермой. Ты ведь помнишь мою маму, еще не забыл?.. Так вот, она всем своим коровушкам давала человеческие имена – Маня, Тоня да Аннушка. Ни одной Буренки или Буянки не было, зато Ани-са была... Я, конечно, к матери очень привязан... Нет, Сережа, не так! Надо сказать по-другому – я ее очень любил, но она об этом никогда не слышала от меня. Не дождалась моих слов, и это горе большое. Но сейчас не вернешь... А похоронил я ее как надо. Место выбрал сухое, высокое, на бугорке. И на два метра могилу вырыли. Посмотрел, а на дне могилы – ни капли воды. Это ж такое везение, успех! Значит, гроб сохранится, не будет гнить. И крест я поставил железный, надежный. Вековой будет крест. Ты слышишь, Сережа?.. А ты меня, мама, слышишь? Все тебе сделали ладом, по порядку. Вот так, моя мама, не переживай... – он взял фотографию и поцеловал ее. Когда целовал, то зажмурился, а потом, когда открылись глаза, они были мокрыми. Он это понял и замотал головкой. А потом, словно чего-то испугавшись, он схватил свою рюмку и залпом выпил вино. Его сухие бледные губы что-то забормотали, заволновались, и опять задрожала головка. Мне даже показалось, что она крутанулась как шарик. Я отвел от него глаза, и мне опять стало холодно и захотелось уехать. Но он уже заговорил о веселом – о рыбалке.

– А теперь, Сережа, я полюбил удочки, поплавки, крюпочки. Одним словом, отдых возле реки. Особенно клевет у нас на Глубоком озе-

ре. От моего дома – ровно три километра. Многовато ведь, правда? И ты знаешь, Сережа, я решил занять колеса. Купил у одного забуддыги старый «Ковровец». Он продал его, ясное дело, по дешевке. Выпить захотелось – и благословил... Ты меня слушаешь, старый русский? Ха-ха! – смешок у него вышел пьяненький, бодренький, хотя он почти не пил. И я тоже слегка опьянел, потому поднялся из-за стола.

А потом была длинная холодная ночь. Он быстро заснул, а я проворочался до утра. Да и ветер мешал. Он бил в стену дома, стучал ставнями, наверное, на кого-то злился. А что злиться – ничего не изменишь... И мне было грустно. В деревне мне всегда грустно, если за окнами метель и ветер. И всегда кажется, что кто-то умер сейчас или стонет чья-то душа. Вот и тогда мне казалось, что этот ветер не перед добром...

Так и случилось, как думал. Зима прошла быстро, а по весне я снова отправился в свою деревню. Мне передали, что Владимир Николаевич попал в больницу, и попал по-серьезному и, наверное, надолго. Он ехал на своем мотоцикле, и его сбил «Беларусь». Точнее сказать, мотоцикл задела по какой-то оплошности тракторная тележка, и старенький «Ковровец» – мигом в кювет. И мотоцикл, и человека измяло как тряпку. Живого места не найти и не собрать по частям. Но бывают в жизни все-таки чудеса: хозяин мотоцикла остался жив. И его привезли чуть тепленького в районную больницу, и сразу вызвали из области хирурга. Тот оказался кудесником, как курганский доктор Илизаров. Этот кудесник и спас ему жизнь. Правда, пришлось отнять левую ногу – чуть пониже колена.

Когда я приехал к нему, он уже выздоравливал. В палате было сумрачно и тоскливо, как во всех сельских больницах. Стены были мокроватые, все в ржавых разводах, и штукатурка обвисла. Господи, везде не хватает денег. Были бы они, грешные, давно бы здесь сделали ремонт. Но мои размышления прервал его голос:

– Спасибо, Сереженька, что заехал. Да я уже здесь недолго... Кстати, тебя не коробит, что я все время к тебе без отчества? Мы же всю зиму не виделись, ты, поди, начальником стал? Нынче ведь сурьезные времена.

Его маленькая головка задрожала, и опять мне почудилось, что она крутанулась как шарик. Но он прервал мои размышления:

– Ага, не отвечаешь на вопросы – значит, начальник...

– Какой ты догадливый, – улыбнулся я и выдавил из себя, – тебя, значит, выписывают или как?

Он молчал, точно не слышал вопроса. И меня испугали его глаза. Они сделались такими большими, огромными, полными чего-то неведомого для меня. Такие глаза бывают у лошадей, когда их везут на бойню. Однажды я увидел такое и потом не спал много ночей. И в этот миг он перебил мои мысли:

– А мне, знаешь, опять повезло. Да-да, и даже не перебивай. Это, считай, просто успех, что я попал к такому хирургу. Мог бы, конечно, и не попасть. Мог бы, а вот, видишь, попал... А во-вторых, мне уже пообещали протез. Это ж такая удача, Господи, я ведь не заслужил. Сережа, ты почему молчишь? Ты разве не слышишь меня, не слышишь?! Пройдет какой-то месяц, и я смогу без посторонних выйти на крыльцо. А потом ко мне дочка приедет. Ведь приедет же, правда? Вон нынче какое солнышко – значит, приедет. Как хорошо, Сережа, ведь уже весна... А тебе, Сережа, самому хорошо? Может, надо помочь?..

Я молчал и не знал, что ответить. Его головка придвинулась ко мне близко, и он обнял меня, а я не ответил. Я молчал и не знал, что делать. Слов не было, болела душа. Она еще сильнее заболела, когда я закрыл дверь палаты и вышел на улицу. Сияло солнце, зеленели деревья, а у меня сжималось горло и хотелось разорвать в том месте рубашку. Но отчего? Почему? И зачем я посмотрел в эти глаза? Сегодня они приснятся ночью, и завтра, и его грустный смешок тоже приснится: «Мы с тобой старые русские, ха-ха!» Я медленно шел к автобусной остановке, потому что решил уехать. А почему решил – сам не знаю... И в этот миг подошел автобус. Он точно бы дожидался меня, караулил.

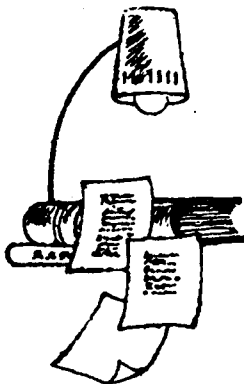
Открылась дверца, и я заскочил в нее с облегчением. Забрался на последнее сиденье и отвернулся к окну. Дорога мне всегда помогает, спасает. Может, спасет и сегодня.



# ВАСИЛИЙ БЕЛОВ

г. Вологда

---



## ФИЛИПОК

(из автобиографической рукописи)

У края бескрайнего моря  
Как маленький мальчик стою.

*Анатолий Передреев*

Однажды в пору отчаянной схватки за русскую воду мне потребовалось раздобыть автограф Леонида Леонова – ходатая и заступника русского леса. Я вышел из дубовых дверей ЦДЛ, уже тогда мало доступного простым смертным столичного заведения, и направился по улице Герцена искать тридцать седьмой дом.

Было около трех часов – самый пик обеденной московской активности, но люди не спешили в столовые, в кафе или по домам, радуясь теплу, свету, золотым брызгам, слетающим с крыш. Некоторые капли влетали прямо за шиворот, вызывая улыбки даже у пожилых...

Ярость косматого мартовского солнца спадала, оно скатывалось за шестнадцатизэтажные башни, успевая, однако ж, превращать в лужи грязный снег вдоль тротуаров. Работники на некоторых кровлях скальвали намерзший за зиму лед. Да, но где же тридцать седьмой дом? Вот редакция «Советской драматургии». Журнал, в коем с такой драматической волокитой печаталась моя пьеса о св. Александре Невском... Но сегодня мне не требовался этот журнал. Мне нужен был писатель Леонов. Уговорю ли я его поставить подпись на бумаге, зывающей к несуществующей совести «переворотчиков»? Ведь завтра, может быть, будет уже поздно. Они, эти облеченные властью потрошители России, лопатами мощных бульдозеров уже корежат мою родину. Они вздумали за счет синих вологодских озер напитать высыхающее Аральское море. Они решили dokonать мои родные леса, луга и светлые речки.

...Цифровой механизм, олицетворяющий охрану подъезда, сработал. Я очутился в обширном коридоре, где бывал и до этого, но вновь не без робости залез в лифт, поднялся на четвертый этаж и позвонил. Леонид Максимович сам открыл дверь. Я косноязычно объяснил ему цель сегодняшнего прихода, намереваясь в любом случае сразу же удалиться. Вместо этого дотемна просидел за чашкою чая...

Впрочем, визит к живому литературному классику требует отдельного очерка...

Леонову не понравился мой текст. Да, письмо, адресованное в ЦК, он почему-то не подписал, зато рассказал о работе над «Пирамидой» и некоторых эпизодах своей долгой жизни (например, о встрече с пьяным Ягодой на квартире у Горького).

Около семи вечера уже в сумерках Леонид Максимович вышел со мной на улицу, совмещая свою вечернюю прогулку с проводами моей персоны... Вероятно, он тоже любил мартовскую эту пору с ее дневным теплом и ядреным вечерним холодом, который вымораживал лишнюю влагу. Новый ледок и не сумевший растаять снова затвердевающий снег начинали вкусно хрустеть под ногами, воздух заставил вспомнить то ли свежий огурец, то ли арбуз. Машин почти не было. В переулке, застроенном особняками прошлого столетия, Леонов вдруг остановился, повернулся ко мне и произнес: «Берегите жену!» Город, усталый за день от рутинных, однако всегда срочных дел, стихал, редкие прохожие, взбодренные первыми весенними запахами, спешили все-таки по домам. Их шаги слышны были издали и достаточно звучно, я дивился акустике вечерней московской улицы. По-видимому, Леонов вел меня по своему обычному прогулочному маршруту.

...Конечно, я знал, что у него умерла недавно жена. Но уместно ли было выражать сочувствие? Он глухо рассказывал о знаменитом издательстве Сабашниковых, из рода которых она происходила, может быть, он вспоминал свою юность и ту полувековой давности мартовскую Россию.

Тротуар был узок, переулок, застроенный домами в стиле московского барокко, вовсе не освещался. Леонид Максимович останавливался, опираясь на трость, и говорил о Москве. Он был истинный москвич. Он великолепно знал город, называл множество купеческих и дворянских фамилий... «Берегите жену...» – второй раз произнес он, и я остро почувствовал его старческое одиночество.

Вдруг позади раздался звук, похожий на пушечный выстрел. Я оглянулся. Многотонная глыба, грохнувшая с крыши пятиэтажного дома, завалила весь тротуар, где мы только что проходили. Нетрудно представить, что было бы, если б кровельный айсберг обрушился на секунду раньше! Мы не обмолвились на эту тему ни словом... Вскоре я попрощался с Леонидом Максимовичем и отправился восвояси. В троллейбусе припомнилось мне нечто похожее...

Стояла весна 1960 года, первый март после моего осеннего поступления в институт. Кто кем был покорен, Москва ли мною, я ли первопрестольной? Студенческая жизнь подхватила меня как река, закрутила в литературном водовороте, понесла неизвестно куда, неудержимо и радостно.

В те дни меня не покидало счастливое состояние полного безрассудства, романтической отрешенности и неосознанной жажды какого-то предстоящего подвига.

Был я молод, здоров, женат. Оля обиталась далеко от Москвы и лишь на время школьных каникул навещала меня в общежитии на улице Добролюбова. В пегом охристом здании, сооруженном из светлого московского песчаника, а также в Доме Герцена на Тверском бульваре варились, булькала густая интернационально-литературная каша.

Что говорить, не очень-то я в ту пору берег собственную жену!.. Уроки детства, материнского терпения и альтруизма лежали под спудом. Я был безрассуден, как большинство моих однокурсников, хотя восторженное состояние в любую минуту могло исчезнуть, уступая место меланхолическим размышлениям о бессмыслице жизни. Ведь она, эта жизнь, все равно рано или поздно завершается смертью. Смятенная грусть о неизбежном финале посещала меня хоть и часто, но не очень надолго, она рассеивалась вместе со вздохами мартовского тепла, в

золоте весеннего солнца, в певучих звуках еще недорогого такси, сильного даже для двадцатирублевой стипендии.

Да, я был пожалуй что счастлив в тот март, в тот 1960 год, первый московский год моего студенчества. Я только что освободился от жуткого бремени. Что это за бремя? Это была многолетняя тяжесть собственной неполноценности. Ледяная глыба бесперспективного прозябания таяла слишком медленно. Мое униженное голодом и бесправием детство хотя и завершилось отчаянным рывком, побегом, но несбыточная мечта об университете точила мое сердце, пока я не очутился вдруг в столице не только с паспортом, но и с аттестатом зрелости. Я ощущал эту холодную глыбу бесправия всегда: и в 49-м году, когда голодал в школе ФЗО, и тогда, когда с гордостью посылал матери первые заработанные рубли, чтобы она выучила, укрепила в этом неласковом мире двух младших сестер и брата. Вечерняя школа была не положена фэззошнику. Не положена она была и солдату, чуть ли не четыре года служившему под началом очкастого шефа КГБ. Я ощущал эту ледяную глыбу даже после того как получил наконец заветный аттестат зрелости. Какой зрелости? Мне было уже 28, я отнюдь не чувствовал себя «недозрелым». Но клеймо беспаспортного и не имевшего права на высшее образование оказалось глубоким, несмываемым, как тавро на теле коня, выжженное раскаленным железом. Вот почему в марте 1960 я ощущал себя счастливым и почти безрассудным. Разве не безрассудно было на спор пробежать туда и обратно вдоль стены нашего шестиэтажного общежития, с крыши которого скальвали глыбы льда? Тяжкие эти глыбы летели сверху с перерывами в одну-две минуты, они падали вместе с золотой великопостной каплей как будто прямо из ослепительно-голубого неба, пронизанного божественным солнцем.

Как много волнующих образов, ощущений рождал для меня этот солнечный март, воскрешающий почти въяве и свисты скворцов, и шуций нерест, и переход от надоевших валенок к легким, пахнущим дегтем саложонкам, и приближение каникул, майского праздника, лодочных забав и водных разливов под синим, пугающе бесконечным небом! В тот день у меня не было времени, чтобы поглазеть на это бескрайнее небо, я спешил в одну редакцию за первой в своей жизни литературной получкой, которая называется гонораром. Но в дурацком споре с самим собою как раз в тот мартовский день я хотел убедиться, что я не трус. На пари с однокурсником Ваней Лыцовым я несколько раз пробежал под ледяными обломками, падающими с голубого и вечного неба...

Наверное, я не жалел в тот момент ни жену, ни себя... В те времена, в безбожной своей гордыне, не одни студенты считали, что каждый человек имеет право на любой, даже безрассудный риск и даже на добровольный уход из жизни... Лишь спустя несколько лет я понял, как велик этот грех. Даже при нестерпимо тяжелых телесных или душевных страданиях человек не имеет права самовольного ухода из жизни! Православные верующие называют помыслы суицида искушением дьявола... Но в моем «аттестате зрелости» да и в зачетной книжке студента не было зачетов по «народному опиуму». Правда, не больно-то старательно овладевал я и диалектическим материализмом, частенько пропускал лекции. Теперь, будучи свободным от бремени, я ни к кому, даже к профессорам и кандидатам наук, не чувствовал зависти. Ни Ашот, игравший в ЦДЛ на биллиарде, ни студент Сашка Говоров, принятый в Союз писателей, не вызывали во мне этого чувства. Впрочем, тут я вроде бы слегка лукавлю. Однажды, оказавшись вместе с Ашотом в душе, я поймал себя на чувстве зависти. Слушая его живописный монолог о любовных, вернее, альковных приключениях, я изловил себя на том, что завидую этому юному ловеласу. Уже в ближайшие месяцы судьба преподнесла мне литературную компенсацию, Ашот же на десятилетия застрял в биллиардной. Надолго, наверное, навсегда я потерял его из вида, как исчезли из моей судьбы и все сорок пять однокурсников. Среди них было человек шестнадцать туркмен, восемь или девять азербайджанцев, один албанец, один монгол, один киргиз по имени Абзий Кыдыров. Запомнился и эстонец Матс Траат, которого я глубоко уважал за молчаливое мужество. (Помню, как мы чуть ли не всем курсом ходили к нему в больницу, Матсу только что удалили легкое). Где вы сейчас, Матс Траат, Акрам Айлисли, жив ли и ты, Фикрет Годжа? Оба Ивана давно умерли. Только Паслей Самык, горно-алтайский поэт и философ, все еще посылает мне письма в снежную Вологду.

«Иных уж нет, а те далече...» – сказал Александр Пушкин. «Бух! Бух!» – глыбы льда, сколотые с навесов кровли, падали за моей спиной. По условиям спора участок, огражденный веревкой, ограничивал пределы передвижения, но скорость пробежки оставалась в моем распоряжении.

Струя освежающе морозной капли попала за ворот драпового пальто. Я весело выбежал на безопасное место, следовательно, выиграл пари и побежал к остановке троллейбуса. Как раз в эту минуту в открытую форточку **зеленого дома** вылетел звонкий женский голос:

– Что ты нарядил ее как колхозницу?

Мужчина, вышедший с девочкой на весеннюю улицу, отмахнулся.

Третий троллейбус на остановке «Зеленый дом» не заставил себя ждать, я бодро влетел в салон. Не доезжая до улицы Чехова, где мы обычно высаживались, я вышел около Новослободской. Для того чтобы попасть в «Молодую гвардию», надо было выбраться на Сушевскую улицу и слегка возвратиться вспять.

В гонорарные дни у кассы устанавливались очереди. Все журналы, газеты и книги самого большого в Европе издательства обретались именно здесь, в этом громадном здании, и как много людей, преимущественно московских, вывело это кассовое окошечко на каменистый литературный шлях! Еще больше кормилось через него графоманов и задиристых комсомольских публицистов, в числе которых оказался и аз, грешный, напечатавший очерк о своей десятимесячной комсомольской деятельности, прерванной побегом в Москву. За этот (уже второй) побег мне грозили исключением из партии. Приказано было ехать в Ленинградскую партийную школу, а я возьми и сбеги в столицу всего прогрессивного...

И вот первый серьезный довольно большой литературный заработок. Теперь можно освободить жену от денежных переводов, она всего лишь первый год работает в сельской школе. Я, как Шукшин, женился, когда у меня еще не было аттестата зрелости... (Мое знакомство с автором «Деревенских жителей» случилось чуть позже, и обнаружилось удивительное сходство моей судьбы с шукшинской).

А в тот мартовский день я бездумно и бодро покинул кассу, вышел в обширный круглый вестибюль с выходом на лестничную площадку и во второй, такой же длинный, нашпигованный редакциями коридор. Здесь же останавливался и лифт, я же, деревенский орясина, любил больше здешнюю лестницу с ее удобными закруглениями на перилах. Пролеты назывались почему-то маршами. Как приятно было через две ступени, ощущая упругость в ногах, самому, без помощи электричества, сбегать вниз или подняться на заветный этаж, где размещался редактор журнала Илья Котенко! Нет, не электричество я сэкономил, я просто не знал, куда деть энергию молодости. Второй мой друг – тоже Иван, с которым я жил в одной комнате, сказал как-то, что человек, если он здоров, никогда не слышит своего сердца. Вбегая на шестой этаж «Молодой гвардии», я не услышал своего сердца. Оно не сказалось и позже, когда я заходил в отдел поэзии. Здесь были друзья, меня уже мно-

гие знали. У открытой двери отдела очерков я заробел, умерил восторг, не зная, можно ли войти без стука. И услышал сакраментальную фразу завотделом Георгия Давидьянца: «Пришел Филипок». Последовал добродушный смешок редакторши Лилии Русаковой. А ведь она так восхищалась моими писаниями, так поддерживала! Я повернулся и двинулся к лифту...

Весь день я **забывал** тот случайный эпизод, но это оказалось мне не под силу. Вечером, в общезитии, фраза Георгия Давидьянца обозначилась во всей своей безжалостной четкости. Значит, я для них всего лишь герой толстовского рассказа, и это меня приютила всемогущая «Молодая гвардия»! Сердце вдруг застучало, кровь прихлынула на лицо, я покраснел задним числом. «Что с тобой?» – спросил Ваня Пузанов. Я ничего не ответил. Я глядел на свою модную, брошенную на кровать купеческую шапку и длинное драповое пальто. «Конечно, я для них всего лишь Филипок в мохнатой отцовской шапке, спасающийся от собак у дверей деревенской школы...»

Я спустился к подъезду, где сидела дежурная тетя Тася. Вышел на улицу. Глыбы льда за день слегка подтаяли, снег на бульваре заметно осел, почернел, съежился. Воду в лужах на глазах схватывало ледяными ребрами. Я присел на скамью и долго мерз в одиночестве, заслоняясь воротником от взглядов прохожих, не зная, что делать и что думать. Счастливое утреннее состояние давно исчезло. «Пришел Филипок...» Всего лишь двумя словами я был низвергнут с какой-то солнечной высоты, с независимого гомеровского Олимпа! Будущее снова померкло... Задуманная повесть представлялась теперь затеей никому не нужной и графоманской. Наверное, зря я выбрал этот институт, этот жизненный путь...

«Что ты нарядил ее как колхозницу?» – вспомнилось мне утреннее восклицание из форточки. Мать девочки, обругавшая отца за плохой дочерний наряд, забыв про ребенка, тараторила с какой-то дамой. Девочка, видимо, промочила ноги, она тащила маму домой. Фраза про «колхозный» наряд вдруг объединилась с «Филипком». Да, нынешнее драповое пальто действительно мне чуть длинновато... Но если б знали, какие «пальто» я носил до него! Целое десятилетие я форсил в замасленных телогрейках, затем в солдатской шинели. На гражданке мы с братом распоролы эту шинель, покрасили. В мастерской мне сшили демисезонное пальто. Вспомнились свои же строчки про это драповое:

*Тяжелое, усталое,  
Не висни на гвоздике,  
Пусть греется душа моя  
В махлятом холодке.*

Да, мой рост не позволял стоять на правом фланге, когда дивизион выстраивался на вечернюю поверку. Только ведь и Давидьянц ростом был ничуть не больше. Правда, толщина его от моей отличалась. Вспомнилось мне и презрительное замечание, сказанное в мой адрес студентом Молдокматовым в институтской столовой. Сей московский «патриций» считался чуть ли не евтушенковским другом, ходил в пестрых петушиных носках, в узких стилижных штанах-дудочках. Его знал весь наш литературный бомонд... Этот пижон мимоходом обозвал меня плебеем. Я имел несчастье услышать словечко и, конечно, тотчас великодушно забыл оскорбление.

«Нарядил как колхозницу». Значит, колхозник для московской мамыши – слово тоже ругательное? Конечно, ни Молдокматов, ни эта дама не ведают, что из моего родного колхоза ушло на войну без мала четыреста колхозников. Целая часть! Вернулось домой душ двадцать. В деревню Тимонику и в соседнюю Вахрунику не вернулся никто. Полегли все. Уходя защищать Москву и Питер, они были беспаспортные. Лежа в могилах, они, по крайней мере, обрели те же права, что и погибшие горожане. Плебеи? Это словцо в моде у золотой (вернее, золотушной) цэдээловской молодежи. Другое словцо, вошедшее даже в поэтический лексикон Ахмадулиной, было «подонок». Московская оценочная фразеология выстраивалась для меня в одну линию: колхозник, Филипок, подонок... Логический ряд требовал молдокматовскую добавку...

Я снова потрогал свою шапку, за которую Давидьянц присвоил мне новое имя. Конечно, шапка была отнюдь не Мономахова. Только и на ту, в какой стоял у дверей школы толстовский мальчик, она тоже была не похожа. Вспомнилось, что в добродушном хихиканьи Лилии Русаковой сквозил оттенок женской жалости. Или сочувствия? И в голосе Давидьянца было заметно легкое снисхождение...

Только сейчас, в свежих мартовских сумерках, припомнил молдокматовского «плебея», я разозлился всерьез. Щеки опять полыхнули, скулы сжались: «Что ж, я согласен остаться толстовским Филипком, который в мохнатой отцовской шапке стоит у входа в класс! Но кто из нас плебей, а кто не плебей, еще поглядим. Это еще не решено «колхозной» судьбой...»

Женская жалость Лилии Русаковой показалась мне приторной, я терпеть не мог даже некрасовской жалости к так называемому «угнетенному» классу – крестьянству, хотя при поступлении в институт и писал сочинение на тему «Кому на Руси жить хорошо». Некрасов был для меня дорог, но дорог совсем не за то, за что хвалили его революционные демократы. Слезные надрывы «Арины – солдатской матери» или «Не сжатой полосы» были для меня совсем не приемлемы. То ли дело веселые коробейники, о которых так великолепно и не похоже на других поет моя мама! Колхозница, между прочим... Двумя любимыми литературными героями были для меня Теркин и Мелехов. Почему? Неужели лишь оттого, что незадолго до гибели отец приезжал в короткий отпуск и рассказывал, как в госпитале читал Твардовского и Шолохова? Может быть, и поэтому тоже. Но главное потому, что даже у Некрасова, ярославского барина и крестьянского плакальщика, в изобилии имелись совсем иные образы, чем те, за кои хвалили его блудливые российские либералы.

*Ноги босы, грязно тело,  
И едва покрыта грудь...*

Лжете! Мужик не любил, когда его жалеют. Русский крестьянин с древних пор был достаточно горд, спокоен и снисходителен к барину, уряднику и даже к царю. Напрасно господа «демократы» называют крестьянина рабом...

Читал ли я к тому марту «Мужика Марее» Достоевского или пушкинские размышления о русском быте и высоком достоинстве крестьянина? Нет, статью Пушкина о Радищеве я еще не читал, а вот рассказ Достоевского уже знал. Позднее мы частенько говорили о Марее с Макарычем. Кстати, пальто его (Макарыча, разумеется, а не Марее), когда мы познакомились, оказалось точь-в-точь таким же, как у меня.

Но ведь и толстовский Филипок, стоящий на пороге школы, не вызывал у читателя слюняйской революционно-демократической жалости!

Раздумывая о будущей повести, я поднялся со скамьи в мартовском сквере. По-видимому, я простил и Лилию Русакову, и Георгия Давидьянца.

Той весной я еще не знал, не осмысливал, отчего каждый раз, когда кого-либо прощаешь, становится спокойней на сердце, счастливее на душе.

*Март 1998 г.*



# НИКОЛАЙ ШАДРИН

г. Курск

---



## ВЕЛИКАЯ СУББОТА

В последнее время дед Никита все чаще начал прихварывать: то одно, то другое – износился. И вот приснилось ему, будто он умер. Лежит в белой рубашке на столе. Голосят старухи. Пахнет пихтой. На лавке на полотенцах разложены крашенные яички, стоят кулички: Пасха.

Проснулся дед с тревожным предчувствием важности и высокой тайны того, что ожидало его впереди. Он подробно пересказал сон родным и стал готовиться к смерти.

...Пришел последний день Страстной недели, великоденная суббота, и дед Никита с утра тяжело занемог. Весь день он тихо пролежал на железной кровати, сложив руки на груди.

Внук Никитка несколько раз молча подходил к нему и, склонив голову, смотрел с придирчивым осуждением. Поведение деда

вызывало в нем недоумение и протест. Усевшись в красном углу под образами, Никитка сначала чуть слышно, а потом все громче и громче запел:

*Наверх, вы, товарищи, все по местам!  
Последний пар-рад наступа-ает!*

Дед молчал.

Видя это, Никитка поставил табурет на табурет и долго крутил что-то за иконой, наконец оторвал пихтовые лапки, бросил на пол.

Дед, вытянувшись и выпучив глаза в потолок, терпел, не желая грешить перед смертью.

Никитка залез на русскую печь и, решив, что за лапки из-за божнички все равно «мало не будет», пустился на крайнее средство: наскреб со спичек в трубку старого ключа серы и оглушительно бабахнул!

– Ни-кит-ка! – простонал дед беззубым ртом.

– Че, деда? – весело отозвался внук, но, не дождавшись ответа, опять зарядил ключ и «ахнул» так, что куры во дворе кинулись врассыпную.

Дед Никита подтянул ноги, приподнялся на локтях:

– Отец придет, я ведь все расскажу.

– Рассказывай, – поддержал внук, соскребая в ключ серу.

– Совесть-то у тебя есть или уж совсем нету?

– А ты зачем умираешь? – съязвил Никитка.

– Не твое дело.

Внук зажмурился и, отвернув голову в сторону, пальнул опять.

– Никитка! Я те вот!

– Не достанешь! – подпрыгнул тот, показывая язык и прячась за трубу.

Дед Никита не выдержал, спустил с кровати отяжелевшие ноги, обулся, запахнулся в полушубок, нахлобучил шапку и вышел на улицу от греха подальше. Во дворе пахло как будто свежим бельем, пихтовым лапником. По талому снегу поперек двора, высоко поднимая лапки, шел кот.

Дед Никита смел остатки крупяного льдистого снега с плахи, сел, уместив на батожок щетинистый подбородок. Через дорогу, перед кузницей, в чистом лоскуте слежавшегося снега, упруго

взбрыкивая ногами и переваливаясь с боку на бок через спину, катался молодой конек.

– Эко добришше, – прошептал Никита, и на глаза ему навернулись слезы. – Вот и пожил! Повидал... – и только взгрустнул было о том, что видит все это в последний раз, как от Черешковых вернулся дед Петро. Неловко надетая шапка и распахнутый полушубок говорили о том, что он уже отметил восхождение Спасителя.

– Здорово были, Никита Ильич! – прокричал он, останавливаясь на виляющих ногах.

– Драстуй-ка, – отозвался дед Никита смиренно, – уже веселай?

– Кто пьян да умен – два угодыя в нем! – беззаботно, с проглядывающим презрением «пьющего» человека к «непьющему» ответил дед Петро и устроился рядом.

Некоторое время молчали, глядя на порозовевший в освещении заходящего солнца снег; на гуляющего у самых ног сизаря, с каждым шагом «клюющего» воздух точеной головкой. Дед Никита всмотрелся в припухшее, будто маком присыпанное лицо деда Петра, хотел было спросить: правда ли, что умершие в Пасху попадают прямо в рай? Но тот внезапно бросил руки к голубку, птица заполошно затрещала крыльями и улетела. Горячая волна умиления улеглась, и говорить об этом сделалось как-то неловко.

Солнце опустилось за зубчатую гору, ярко высвечивая синие с золотистым оплавленным краем облака... Сердце в груди деда Никиты встрепенулось, тоскливо заныло, потянулось вверх, как будто привязанное к навек уплывающему солнцу.

– Деда! Мамка йись зовет! – залиvisto прокричал с крыльца внук.

– Ты почему такой хлопотуша-то?! – в досаде изумился дед. – Кто зовет? Она – де?

– Пришла-а! Она с работы через огород ходит! Велела живо идти – пельмени на столе!

– Ешьте без меня, – отмахнулся дед. Чуть наклоняясь вперед, он заглянул Петру в лицо и, легонько хлопнув его по твердому колену, встал:

– Пройдусь маленько.

– Пройдись, пройдись, – закивал тот.

От встречи с Петром на душе остался горький осадок: ведь всю жизнь человек телелесил, ни Богу свечка, ни черту кочерга – а живет!..

Из широкой, закрытой грязно-синим льдом реки взгорбился и как будто приподнялся рыжий обтаявший остров. Здесь и там выступали огороженные сосновым лапником проруби, тянулась вдоль берега желтой полосой полынья. Весна пришла ранняя, недружная: то таяло, то круто подмораживало. Дороги развозило, снег набухал водой – и вдруг схватывался настом. Уж больше двух недель как отпарило лед от берегов, но опять завернули морозы, и полынья вдоль берега затянулась новым гладким льдом. С высокого яра дед Никита долго смотрел на черные, иссеченные трещинами, заросшие скалы другой стороны.

– Прощайте, – выговорил он, заморгал, засопел носом.

Из-под яра поднялась круглая, гладко обернутая в шерстяную коричневую шаль голова, показались плечи, коромысло. Алена!.. В груди деда охнуло, радостно обмерло, заставляя забиться сердце новым, робким волнением. Бабка Алена, вытянув губы, осторожно дышала ртом; рука ее на коромысле мелко-мелко дрожала, деревянные кресты в ведрах слепо тыкались в стенки.

– Давай подсоблю! – отчаялся дед, хоть в их деревне мужику по воду ходить считалось неприлично. Бабка Алена качнула головой, прижав губами улыбку.

– А говорили, будто ты маленько захворал.

Дед Никита на мгновение замер, не сразу понимая: о чем?

Вдруг махнул рукой и стыдливо усмехнулся.

– Говорили, будто плохой...

– Звонят! Привязалось было что-то... А счас – нет! – отрезал он, отворачиваясь.

Слышно было, как всюду вздыхает подтаявший снег, шелестит в заламах иссосанный оттепелью лед.

– Ну дак... ждут меня, – и, наклонив голову, придерживая коромысло, Алена плавно двинулась в проулок.

Дед Никита с забытой улыбкой на губах провожал ее грустными глазами, угадывая в сгорбленной немощной фигуре одному ему памятную, давно ушедшую красу. Накатило, вспомнилось, как был

смертным боем бит за нее. Как мазал темной ночью воротные столбы медвежьим салом, как кони свадебного поезда храпели, вставляли на дыбы, не желая идти в ворота, но мужики, смекнув в чем дело, сломали забор – и вышла она замуж за Петра...

– Деда-а! Папка пришел! За стол не садится – тебя ждет! – зазвенел раскрасневшийся на бегу внук. – Ждем-ждем! Пойдем, деда!

Дед посмотрел долгим взглядом, все более и более приходя в беспечно-радостное состояние. И с легким сердцем быстрой, сбивающейся походкой направился вслед за Никиткой к дому...

А в двенадцать часов, как обычно на Пасху, по всей деревне загрохотали выстрелы: часто бухало у соседей, с оглушительно-хлестким эхом стрелял с крыльца сын, доносило дробный гул с дальних концов деревни. И время от времени в общий беспорядочный ружейный треск врывался короткий нахальный хлопок.

«Никитка, варнак, из ключа жахает», – беззубо улыбался дед. И ему до слез радостно делалось от этих негромких, сухих Никиткиных хлопков...



# ГЕННАДИЙ СОЛОВЬЕВ

Новосибирская область  
с. Владимировка

---



## СПРАВЕДЛИВЫЙ КРИВКО

Как и большинство трактористов, Сашка Кривко всегда спокоен и нетороплив. И куда бы ему спешить, и зачем бы ему волноваться? Задание на сегодня выполнено, трактор величиной с дом дожидается хозяина у ворот, а сам Сашка обедает. Он уже упледел две тарелки супа и теперь, задумчиво глядя в окно, расправляется с большим куском баранины. Рядом со столом, сложив руки на животе, стоит мать, дородная, как гусыня, готовая дать сыну добавки, налить по его желанию молока или чаю. У печки на табуретке сгорбился прихварывающий отец и с интересом смотрит на обедающего сына. В свои молодые годы он тоже «хорошо ел».

Стукнула входная дверь, и с плачем вбежала Настя, старшая сестра; волосы у нее всклокочены, под глазом – синяк, под губой – кровотокающая ссадина.

– Кто тебя? – ахнула мать.

– Кто же, как не мужик, – застучала Настя соском умывальника. – Чтоб его, лешего, черти побрали! Денег, вишь, не дала на бутылку, вот и взбесился! За волосы меня таскал и под дых бил. И зачем пошла я за него замуж? Сгубил, сгубил мою молодость!

– Сколь можно? – хлопотала возле дочери мать. – Чтоб этому Витьке руки поотсыхали! Доченька моя, страданица.

Сашки хватились, когда К-700, похрюкивая, покатил по дороге.

– Ой, он не иначе как к нам приехал! Боюсь, как бы Витьку не изувечил. Я, мама, побежала домой.

Сашка оставил трактор на дороге, глушить не стал. И только бы войти в калитку, а хозяин – вот он сам.

– Шуряк мой, шуряк припожаловал! Ну ты, черт здоровый, пузырь принес?

– Зачем сеструху мою обидел?

– Я ее уму-разуму поучил. Только и всего! Будет знать, как обзываться. Моя жена – мне ее учить.

– Я тебе, скотинка безрогая, говорил, чтоб больше ее не обижал? А ты опять за свое? Сволочь поганая!

– Да я тебя вместе с сестрой на ... видел!

Это уж было слишком. Одним рывком Сашка сбил непутевого зятя с ног, схватил за шкуру и стал тыкать носом в землю, как пакостливого кота, приговаривая:

– Ничего, скотинка, не понял. Но у меня поймешь! Все поймешь!

– Сашка, сука, отпусти, не то зарежу, застрелю, спалю! – извивался и орал на полдеревни тщедушный Витька.

– Алкаш! Козел вонючий! – с наслаждением таскал его Сашка лицом по пыльной земле. – Еще раз сеструху обидишь – задавлю вот этими руками, и весь хрен до копейки. Так и знай!

Тут подоспела Настя, с ходу отпихнула Сашку, подняла муженька и повела в дом: умыть, отряхнуть пыль, опохмелить.

Только один человек во всей деревне осудил Сашку и назвал эту сцену безобразной и вроде бы как унижающей человеческое достоинство. Его тут же дружно обрезали: как же, сестру защи-

тил! Так Витьке и надо! Давно на трепку напрашивался. И получил. Надолго запомнит.

Сашкина угроза и впрямь на Витьку подействовала: притих, затаился. На время или навсегда? Силу тут понимали и уважали.

Народ в деревне сборный: свои на ферме да в поле вкалывали, а пришлые, летуны несусветные, всякие перекаати-поле лепились к леспромхозу или шли в охотники. Очень удобно: выгонят из одной организации – идут в другую. Некоторые всю свою недолгую жизнь так по кругу и ходили, колхозной работой пренебрегая. Все эти люди умели: и лес валить, и плоты вязать, и по речке сплавать, и зверя добывать в глухом урмане. Могли довольствоваться малым, спать не раздеваясь, жить без бани, есть всухомятку, спастись от болезней спиртиком да чифиром. У каждого – ружье, его берегли, о нем заботились. По первому снежку спешили завалить на зиму лося – а как же иначе? Об этом знали все, в том числе и участковый инспектор. Знать-то знал, но никого не трогал, не хотел связываться с этим народцем. Он и сам поздней осенью пропадал на недельку в урмане, а чем там занимался – кедровую ли шишку бил или клюкву собирал, – никому не ведомо. Догадывались, конечно, но дружно помалкивали.

Прошлой зимой здесь такое произошло, что рассказывать – оторопь берет. Выпил лишку Славка Кропачев – и по привычке за ружье, и на улицу, грохнуть в сороку, чтобы получить удовольствие. Но сороки в этой деревне ученые, близко к дому – ни-ни. Постоял Славка, отрешенно покачиваясь, а тут кобель перепрыгнул через плетень и потрусил по свежевывапшему снегу. «Мишки Толкачева кобель, – повел стволами Славка, – Дозор». Ружье, сволочь, само выстрелило. Завизжал, закрутился кобель на снегу, пятная его кровью, и похромал куда-то, не переставая жалобно скулить. «Подыхать отправился», – проводил его Славка глазами.

Из последних сил бежал кобель к своему дому, чтобы пожаловаться хозяину на человеческую подлость, и скулил, и скулил предсмертно. Переполошились собаки на деревне, одурело залаяли на разные голоса. Последние метры Дозор полз, окрашивая дорожку алой кровью. Хотел поцарапать в дверь – сил не хватило.

А его любимого хозяина не было дома: обмывал с дружками начало охотничьего сезона. И все своим Дозором похвалялся. Уж такой пес умнейший, с полуслова понимает, без добычи – ни одного дня. Только голос подаст – Мишка сразу определит: держит ли на сосне редким тьявканьем глупого глухаря, прихватил ли соболя в дупле и не дает ему ходу, загнал ли на дерево рысь и исходит по ней прирожденной злостью, гонит ли дуру-белку: она верхом скачет, на лайку цокает, а он на нее снизу так-то звонко взлаивает – на весь лес музыку слышать. Черт, а не пес! Его и кормить не надо: между делом не хуже лисы выхватит мышь из-под снега, ободранную белку сгрызет – и сыт. Что бы Мишка без него делал?

Только под вечер нашел отца-гулевана сынишка, захлебываясь слезами, сказал, что Дозора застрелили. «Кто?» – не своим голосом рывкнул Мишка, схватил телогрейку и шапку, на себя напялил их уже на улице. Бежал к дому – никогда в жизни так быстро не бежал. Когда его сотоварищи пришли, Мишка сидел на крыльце и плакал навзрыд. Дозор, его верный Дозор, пес, каких не было на свете и уже не будет, лежал весь в крови, чуть оскалив снежной белизны зубы. «След, след!» – вскричал Мишка, забежал в сени, схватил ружье и побежал по следу, перепрыгивая через плетни. Мишке рассказывать не надо, по черточкам, оставленным дробью на снегу, сразу определил, откуда грянул выстрел. «За что, за что ты его, сволочуга такая? – со слезами причитал Мишка, направляясь к Славкиному дому. – Уж лучше бы меня, чем Дозора».

«Сейчас мы ему морду намоем!» – торопились следом дружки.

А Славка сидел перед телевизором, не понимая, о чем на экране говорят и что делают. Ворота у Славки тесовые, глухие – и цепной пес поднял хай. «Славка, выйди!» – услышал он Мишкин голос. «Бить меня пришел за собаку, – сообразил Славка. – Как же, дамся я!» Взял ружье и вышел в одной рубашке: «Чего тебе?» – «Ты за что моего Дозора убил, сволота несчастная? Он тебе мешал? За что, курвинский твой потрох?» – «А ты не лайся, – подбоченился Славка, не замечая в сумерках, что у Мишки тоже ружье. – А почему он у тебя непривязанным бегаёт, заразу разносит, а?» – «Заразу? Вот тебе, падла, за Дозора!» – навскидку выстрелил Мишка. Белая Славкина рубаха сразу же расцвела на груди кровавыми роза-

ми – раскрыл Славка рот, будто воздуху ему не хватало, и упал на крыльце замертво. Мишкины дружки на миг остолбенели, но тертые были ребята, сразу сообразили: выхватили у Мишки ружье, чтобы он сгоряча еще и себя жизни не решил.

Мишка получил свои десять лет, а о событии этом говорили не только в деревне, но и во всем районе, и будут вспоминать даже тогда, когда Мишка срок свой отсидит.

Его осуждали единодушно. Оно, конечно, за собаку, да еще охотничью, каждому обидно, но не убивать же из-за нее человека! Один Сашка Кривко одобрил:

– Правильно сделал! Убирать надо всю погань с земли. Собака – она друг. Лучше, чем человек. Собаки – они вообще лучше людей. Не подведут, не продадут. А человек – и подлый бывает, и паскудный.

– Ну ты даешь! – засмеялись ребята, думая, что Сашка шутит.

А Митька Распопов, явившийся в клуб в обычном подпитии, длинно и заковыристо заматерился. Невдалеке девчонки кучкой стояли, уж на что ко всему на свете привычные, и те на Митьку посмотрели укоризненно.

– Закрой свое хайло! – сказал ему Сашка вроде бы негромко, но все услышали. – Не то я закрою.

– Уй-уй, робяты, за что ж мене бьют? – дурашливо захныкал долговязый Митька, с которым Сашка когда-то сидел за одной партой. – За что мене бьют-убивают хохлы сопливые?

Все видели, как Сашка к нему шагнул, и тут же Митька полетел в угол. Удара вроде и не было. Митька, взревев во все горло, с диким матом ринулся на обидчика – и тут уж все разглядели, стоя сбоку, как быстро мелькнул Сашкин кулак. И снова Митька на полу, руками за лицо держится. Ребята забеспокоились, подняли Митьку, насилу руки отвели: оба глаза быстро заплывали огромными кровоподтеками. Взяли его двое под руки и отвели домой.

Сашка кий самодельный в руки и стал как ни в чем не бывало загонять шары. Никто ему и слова не сказал ни в осуждение, ни в одобрение. Подумаешь, ребята поцапались! Дело привычное.

А Митьке хоть на улицу не показывайся. Оба глаза заплыли, ничего не видать, да и стыдно ходить с побоями. Уж лучше бы по башке трахнул, заехал в ухо или по сопатке, бочину бы намял, по

заду напинал и тем душу отвел, так нет же – «фонарей» наставил. Будто он уж не мужик, а шалавая баба. Кто ни встретится, обязательно, усмехаясь, посочувствует:

– Где ты так, Митенька?

– Места надо знать, – одинаково отвечает он и поскорее мимо. Ну, Сашка, ну, гад, ну, змей подлючий! Подкараулить да отметелить – не раз приходила мысль. Но ведь они и так были один на один. Сашка, стало быть, сильнее – вот в чем штука. А может, сделать, как Мишка Толкачев? Но такую мысль Митька решительно отметал. Побили – эка невидаль! Сегодня тебя побили, завтра ты побьешь... И участковому не пожалуешься: выпимши был, выражался. Да и противно жаловаться! Не принято здесь писать заявления друг на друга.

Участковый инспектор сам зазвал Сашку в кабинет, посадил напротив за стол, посмотрел на него с интересом.

– Распопова Димитрия... твоя работа?

– Чо? – мучительно соображал Сашка, как вести себя дальше.

– Ты ему «фонари» под глаза навесил?

– Он что, пожаловался?

– Н-нет, – не сразу признался участковый. – За что его избил?

– Избил? – удивился Сашка. – Я его только два раза и щелкнул.

За дело. Заслужил – получи.

– Это что за самоуправство? Смотри мне! Какое такое дело?

– За дело получил, – упрямо твердил Сашка. – Он знает, за какое.

– Не знаю я ваших дел, – привычно строжился участковый. – Заматерился в общественном месте – это ты имеешь в виду? Тогда мы на него составим материал, оштрафуем. Подпишешь?

– Нет! – резко выдохнул Сашка. – Он свое получил.

– Шибко руки не распускай! Понял? По-хорошему советую.

– Я? Да я мухи не обидел за свою жизнь. Я по справедливости.

А Митька... сразу исправился. Ведет себя нормально.

Деревенские ребята Сашку заметно зауважали, при встрече торопливо совали ладони, заглядывали в лицо. И все «Санек», «Санек». Это было приятно, но Сашка так ни с кем и не сблизился. Подружиться – значит, повязать себя, делать не только так, как ты хо-

чешь, но и как твой новоявленный друг. Нет, Сашке хотелось быть независимым.

Теперь, стоило ему прийти в клуб, как немедленно освобождилось место у бильярда, и Сашка так щелкал по шарам, что они, может быть, и не хотели, но, повинувшись силе, влетали в разбитые лузы.

На слова Сашка скуп, и, глядя на его неподвижное лицо с толстыми губами и словно навсегда застывшим взглядом, невольно подумаешь: а посещала ли хоть когда эту голову глубокая мысль? Он и в школе был таким: сидел прямо, смотрел перед собой – и не понять, то ли учителя внимательно слушал, то ли беленую стену рассматривал. Учился тяжело. Не давались науки. Особенно литература. Стишок еще так-сяк: выучил – отгарабанил. А как рассказывать о каких-то там чувствах и мыслях – язык не поворачивался. Но из класса в класс переходил: нравилось учителям, что не в пример другим сидит тихо, дисциплину не нарушает, не дерзит. Доучился до восьмого класса и решил: хватит, не всем быть инженерами. Пошел работать на ферму: парень он здоровый, работал без замечаний. Потом годы армейской службы. Вернулся – и снова на ферму, но если раньше как простой скотник вилами орудовал, то теперь пересел на трактор: в армии профессию приобрел, на скотников посматривал свысока.

Сашка не курит и почти не пьет. Рюмку водки – еще куда ни шло, и как отрежет. Уговаривать его – только время терять. «Я люблю одну», – отвечает он назойливым, которым потехи ради очень хотелось Сашку спить. «Упрямый хохол», – не раз слышал он в свой адрес. Сашка не обижается: ну какой он хохол, если ни одного украинского слова не знает? Какой-то дед-прадед то ли сам в Сибирь переехал, то ли сослан был – Сашка не интересовался, родителей не расспрашивал.

В магазин, где, кроме соли, спичек да консервов из морской капусты, уже давно ничего не было, завезли машину краснухи. Сразу же – очередь, даже на улицу вытянулась. Никто не пошел на работу: надоела, будь она неладна! Гвалт, толкотня, неразбериха. Вылазят потные, с оторванными пуговицами, но счастливые: взял, целую

сетку взял «Агдама»! Гуляем, братцы! Эх, пропади, земля и небо, я на кочке проживу!

Сашка тоже стоит в очереди. А что он, хуже других? Или не заработал? И к нему заезжают гости, будет чем украсить стол. А поставь в очередь отца или мать – задавят. Прут люди – не остановить, того и гляди, хилый магазинчик перевернут. А Сашку не сдавишь. Колыхнет телом взад-вперед – и снова ему стоять свободно. Только замечает Сашка, что очередь ну совсем не подвигается. Непорядок!

– Что-то мы не двигаемся, – не вытерпел он. – Так нам не хватит.

– Женька Хмелев со своей кодлой без очереди берет, – тут же получил он исчерпывающую информацию от всезнающих бабенок. – А не стоял совсем.

– Да? Ну-ка я схожу, погляжу, что к чему.

– Остерегись, Сашка, их много. С ним двое с городу.

Сведения были верными: Женька, мокрый от пота, но довольный, передавал бутылки «Агдама» двум дружкам, а те рассовывали их по своим необъятным сумкам. Очередь, люто их ненавидя, все же молчала: Женька, недавно из заключения, приклатненный, весь в синюшных наколках, внушал безотчетный страх. Да и эти двое неизвестно откуда взявшихся архаровцев на вид такие же звероватые. И все оглядываются, будто какого подвоха ждут со стороны.

– А ну, Женька, хватит, – тронул его Сашка за плечо. – Кончай наглеть!

– Давай и тебе возьму без очереди.

– Я сам возьму, придет время, а ты кончай базар! Что за моду взяли лезть без очереди? Ты не один такой хороший, всем охота.

Люди дружно загалдели в поддержку Сашки, но Женька на них мрачно взглянул – и они разом смолкли. И Сашку отпихнул от себя: не лезь, бык колхозный! И тогда Сашка схватил наглеца за шиворот и одним рывком бросил его людям под ноги. Взбешенный Женька тут же вскочил с замызганного пола и, чуя поддержку дружков, буром попер на Сашку.

– Остынь! – положил ему пятерню на лицо Сашка, сильно надавил и оттолкнул от себя.

– Давай выйдем! Пойдем поговорим! – кипятился возле него Женька.

– Пойдем, – согласился Сашка и вышел первым.

На улице, когда обвел взглядом своих противников, дошло до него: их же трое на него одного. Этот, что справа, в джинсиках, высокий и, видать, был неслабый, но зажирел, пузцо через ремень свесилось, и щеки отвисли – весь раскиселился. С него и начать. Второй явно слабоват, лицо синее, дряблое, как у пьяницы, и руки тонкие, женские. Что-то в кармане шарит. Нож? Не исключено.

Но не испугался Сашка, пиджак выходной, единственный, чтобы зря не пострадал, накинул на случайно уцелевшую штaketину. И рукава на рубашке подвернул, чтоб ловчее было.

– Это что за хрен с горы? – отвалил нижнюю губу высокий.

– Сашка Кривко, я тебе о нем говорил, – угодливо подсунулся Женька.

– Кривой? – хрюкнул приезжий. – Так я тебя выпрямлю, козли-на!

Шагнул враскачку к Сашке, вид беспечный, а Сашка – вот он! Двинул кулаком, как конь копытом, и провел свой коронный удар – в скулу. По удару почувствовал – достал. Аж кулак сладко заныл. И не зря: с ног сбил. Рухнул длинный на заплыванную землю и не сразу поднялся, ползая по вонючим окуркам. Верные дружки разом кинулись на обидчика. Больше бить кулаком нельзя: можно пальцы повредить, а ему завтра на работу. Сашка сложил ладони вместе, переплел пальцы, увернулся от прямого тычка и, круто развернувшись, так трахнул второго приезжего по уху, что тот отлетел в сторону и, стоя на коленях, обеими руками зажал гудевшую от звона голову. Женька сдуру сам нарвался на удар, так и влип сдвоенный кулак в нос, из которого неудержимо пошла кровь.

Оглядел Сашка поверженных противников, накинул на плечи пиджак, повернулся к людям:

– Очередь моя не прошла?

– Погоди, хохля, – сплюнул Женька ему под ноги сгусток крови, – мы с тобой еще встретимся.

– Зачем ждать? – спокойно ответил Сашка. – Давай сюда, еще получишь.

И тут Сашка встретился взглядом с директором школы, молодым еще мужчиной, назначенным сюда с год назад. Очереди он не занимал, стоял отчужденно в сторонке с унылым видом, силясь что-то понять. На драку смотрел – глаза по чайнику. И с таким видом, будто его самого побили. С чего бы так ему переживать?

Никто и слова Сашке не сказал, но чувствовалось: не одобряют. Что эти нахалюги лезли без очереди – нехорошо, но и так бить! Жалости нет у него нисколько.

Одна бабка Акулина обернула к нему сморщенное лицо:

– Сдурел, окаянная душа! Так и убить недолго.

– Ни-ког-да! – отчеканил Сашка с твердой убежденностью и чуть ли не весело. После драки у него всегда поднималось настроение. – Я, баба Лина, два раза не бью. Одного хватает. Будут теперь помнить, как без очереди лезть, народ не уважать. Учить таких надо! Кулаком. Раз сами не понимают.

– Оно и правда, охамели, никого не признают, а все ж-ки...

Вот и пойми этих людей! Для них же стараешься, а они... Темнота!

О том, что Сашка Кривко в одиночку разогнал Женькину гопкомпанию и всем наподдавал, только и говорили на деревне. Встречные загодя уступали ему дорогу, ласково здоровались и долго смотрели вслед. Будто и не знали его раньше. Сашка удивлялся, но понять этих людей не мог. Само его присутствие стало действовать удивительным образом: в клубе девчата прекращали щелкать семечки и орехи, ребята – шуметь, а если кто по привычке выразится, то тут же торопливо оглянется: не услышал ли Сашка? Это ж такой черт: даст под дыхало – и выноси. Всякие слухи о нем пошли: он, мол, в армии разные приемы изучил, и потому с ним никому не совладать. Кое-кто из дотошных подсмотрел: Сашка по утрам физкультурой занимается, двухпудовой гирей крестится. Он и верно, сохранил армейскую привычку, не давал телу застояться, любил его поломать, ощутить сладость в мышцах.

Однажды шел он под вечер и видит: дед с бабкой колют дрова. Для веселого человека то-то потеха: тукнет дед топором, засадит его, а вытащить не может. Снял Сашка пиджак и как давай щелкать чурбаки – осколки по всему двору так и запрыгали. Дед даже

стал бояться за топориче: как бы не изломал его, чертушка! Не передохнул Сашка, пока все не переколол. Дед ему слипшиеся деньги стал совать, а Сашка хмыкнул, отвел руку и пошел домой.

Ему – двадцать два года. Даже бреется еще не каждый день. А еще – с удивлением передавали друг другу – недавно помог застрявшую легковушку вытолкнуть из грязи. Подошел, нажал своими ручищами и вытолкнул. Что ему стоит, такому слону?..



# АЛЕКСАНДР ЦЫГАНОВ

*г. Вологда*

---



## ПОМЯНИ МОЕ СЛОВО

И хотя с пустого огорода вдруг сорвался осенний ледяной ветер, он не спешил заходить. Стоял в какой-то рваной фуфайке и, подняв голову, вглядывался в черное окно избы. Потом медленно, на ощупь вошел в дом и с трудом потянул тяжелую, обитую войлоком дверь: в коридор, опавнув хлебным теплом, вырвался избный дух.

Но из лунного полусвета передней комнаты никто не вышел навстречу, и он, стоя у порога, позвал несмело, тихо, с неуловимой растерянностью:

– Мама.

Ему пришлось еще раз окликнуть, потому что простоволосая старая женщина, неслышно появившись, смотрела больше не узнавая, чем испуганно, прислонясь к дверному косяку.

– Мама, – с тоской, хрипло повторил он. – Это я. Помнишь?

– Бог с тобой, – придя в себя, наконец отозвалась хозяйка, слабо махнув рукой. – Не знаю, чего тебе надо. Вон возьми хлеба, да если хочешь, картошки дам.

– Я не хочу есть, – ответил он уже спокойно и без обиды, понимая, что его принимают за обыкновенного попрошайку. – Мама, это правда я. Неужто не узнала? Я же обещал вернуться – и вернулся. Помнишь, как я все время говорил: «Помяни мое слово»? От тебя и научился.

Женщина снова долго молчала, затем, когда он, не дождавшись ответа, повернулся к двери, спросила неуверенно, как будто что-то припоминая:

– Может, самовар тогда поставить?

Но он уже вышел и, не разбирая дороги, зашпешил через огород прочь из этой деревни прямо на бетонку, словно человек, потерявший самое дорогое и еще толком не знающий, где это могло произойти.

Женщина, оставшись в одиночестве, наклонилась к окну, затем, оглядевшись вокруг себя, пододвинулась к застекленной фотокарточке на стене и, вздохнув точно после непосильной работы, скрестила руки:

– Или совсем из ума выживаю, или взаправду моему парню даже там тошно без матки. Видно, пора собираться.

А он, скоро отшагав в другую сторону километра три, подошел к поселку, угадываемому лишь по обманчивым лунным очертаниям домов, и приблизился к одной из барачных щитовых построек. Ни одна собака за это время не подала голоса и не облаяла чужака, хотя этой породы здесь водилось больше, чем людей.

В это время на крыльце домика, хлопая широкими голенищами сапог, появилась молодая женщина, светловолосая, с капризными припухлыми губами, и, кутаясь в наспех накинутую пальтушку, заторопилась под навес к дровянику.

Не доходя до места, она остановилась, тревожно оглядываясь по сторонам и не различая в темени того, кто был рядом и старался оберегать ее даже от собственного дыхания.

– И ты не узнала, – с той же затаенной тоской печально прошептал он. – Никто меня сегодня не признает. Наверное, потому что темно. Даже сам сначала заблудился. В чужой дом попал, да еще другого человека за мать принял. А почему теперь стало везде темно?

– Да уж который год, как по вечерам не дают света. С кого и спросить, не знаем. Как слепые бродим, дальше своего носа не видим, – так, словно она говорила сама с собой, и с каждым мгновением поражаясь этому происшествию, ежась, неуверенно ответила молодая женщина.

– Ты не беспокойся, – снова осторожно, одними губами заговорил он, робко отводя свой взгляд. – Я ведь, правда, не обижаюсь, что не дождалась меня. А что вышла за него, так это и хорошо: он ведь еще со школы не спускал с тебя глаз. Понимаешь, сейчас всем трудно, вот он и выпивает иногда. Ты уж не держи на него зла. Главное, он мужик заботливый, не даст тебе с дочкой пропасть. Вот помяни мое слово. Ты только потерпи еще немного.

– Господи, да что такое творится, – заголосила женщина, отступая к крыльцу, и, запнувшись, едва не растянулась. – До чего со своим дураком долаешься – заговариваться начнешь. Вершись все головой с этой и жизнью-то!..

И она, запямятовав, для чего была на улице, скоро захлопнула за собой дверь – сначала железно скрежетнул крючок, а следом брякнул и засов. Немного погодя быстро-быстро и в самой квартире потух свет.

Постояв с поникшей головой, он провел руками по лицу, зябко запахнул свою неказистую фуфайку-поддегушку и, ниже надвинув шапку на глаза, выбрался из этого поселка.

Некоторое время он растерянно топтался на развилке двух дорог, после чутко насторожился, видно, услышав наконец одному ему ведомое, и уже без раздумья, чуть не вприпрыжку припустил к лесу, откуда стеной наносило предзимней стужей, но он, ничего не замечая, торопился все скорее и скорее, пока налетевшие порывы вселенского ветра, казалось, внезапно не подхватили его и, завертев в своем гибельном вихре, скрыли из вида.

Одному лишь ему известно, как преодолелись два десятка километров за время, равное человеческому вздоху, только в дерев-

ню на горушке он подospel к сроку, стоя у нужного дома уже из последних сил.

Чуток отдышавшись, он было шагнул к крыльцу, как, подскользнувшись, ничком ткнулся в стылую грязь, а только успел подняться, откуда-то из-под горушки и появилась машина, шаря перед собой яркими фарами. И тотчас на мгновение выявилась на нем вся в рваных дырах, будто от выстрелов, какая-то зеленая фуфайка и шапка с вмятиной от кокарды и с оторванным ухом. Неожиданно освещенный с головы до ног, он лишь изумленно, по-детски приоткрыл в испуге рот и тут же, как вспышка, исчез – скрылся в своем ослепительном свете, ровно никого здесь и не бывало, только отчетливо проявилась светлая дорожка к самому крыльцу.

Машина, остановясь и газуя, выпустила из крытого кузова женщину с сумкой на боку, как у почтальонов, и сразу заурчала во тьме, а женщина прошла по светлой тропинке и забарабанила в дверь. Не достучавшись, она торкнулась в коридор, а после привычно вошла и в саму избу.

– Хозяюшка, ты где? – задорно крикнула она. – Дома? Ставь давай самовар на стол! Принимай гостей!

Но никто не откликнулся на ее голос. Тогда она заглянула в переднюю комнату и, нашарив выключатель, зажгла свет. На старой кровати с железными шариками лежала поверх одеяла женщина. В какой-то застывшей, казалось, тишине еще медленнее тикали настенные часы, висящие над хозяйкой дома.

– Ты чего это, девка? – удивилась почтальонка. – Зову, зову. Язык, что ли, отнялся? Да у тебя, гляжу, и в избе-то вроде все выдуло?

Но женщина продолжала молча лежать без движения, хотя по ее лицу было ясно, что она все понимает, что говорится.

– Да что с тобой стряслось-то, тетка Вера? – уже всерьез стала пугаться почтальонка. – Все ли хоть ладно-то? Ты чего все молчишь да молчишь? Не заболела случаем?

Но видя, что хозяйка дома продолжает только неподвижно смотреть перед собой, она засуетилась – забегала по комнате в поисках хоть каких-то лекарств, принесла с кухни воды и хотела напоить лежащую женщину, но все было напрасно – та продолжала оставаться пластом. А вода лишь пролилась на нательный медный крестик, и это окончательно довело почтальонку.

– Ведь утром еще все слава Богу было, – запричитала она, опускаясь на стул. – Господи, и машина-то с рабочими ушла, знатье бы, дак за врачом успели обернуться...

И, покачиваясь на стуле, она прижала к лицу руки, причитая и охая.

– Я-то, дура, торопилась, думаю, вот обрадую-то!..

Тут она оборвала саму себя, огляделась кругом:

– Ой, тетка Вера, да я тебе главного не сказала, – схватив свою дерматиновую сумку с почтой, она перевернула ее вверх дном и, вытряхнув газеты, выхватила полоску серой бумаги. – Тебе ведь телеграмма! Из самой Москвы послали!

По лицу лежащей пошли судороги, и она дернулась, как будто под током, после на ее щеках появились пятна, а сама она стала постепенно, прямо на глазах, наливаясь живительным светом.

Скоро женщина, пытаясь открыть рот, прерывисто задышала, поводя глазами из стороны в сторону.

– Счас, счас, – бестолково суетилась почтальонка, разворачивая листок и читая, как человек, недавно обученный грамоте, – по слогам, громко и неуверенно:

«Ваш сын нашелся тчк настоящее время находится излечении городе Москве тчк представлен правительственной награде тчк Однофазов».

– Дождалась, – точь-в-точь эхом донеслось от приподнявшейся на подушке женщины. – Пришел... Господи.

Она говорила словно в забытьи, с перерывами, тяжело дыша и глядя в одну точку перед собой.

– А ведь смертушка моя рядом была... Легла вздремнуть, и не повернуться – руки-ноги отнялись, хотела кого крикнуть, а все онемело. Чую уж, как и сердце-то еле-еле стучает... – Тетка Вера передохнула, прислонясь к спинке кровати. – И тут вижу, как въяви бежит навстречу мой парень, откуда-то издалека, во рваной фуфайке, стойно арестант какой, и вот чего-то мне кричит, все зовет. Слова-то уж больно знакомые, а понять не могу... – Она снова передохнула, хватая воздух открытым ртом. – Только после этого и отлегло немного. А следом ты прибежала в дом. Вот помяни мое слово, скоро и сам, рожоное сердце, ступит на родное-то крылечко.

Тетка Вера заплакала было, но сразу остановилась:

– Ой, матушка ты моя, а взаправду выдуло в избе: давай-ко хоть затопим столбняку. Да и самовар надо вздуть, у самой во рту маковой росинки не было. Поди-ко, надо снова жить, коли такое дело.

И она с трудом сползла на пол, после, держась за стенки, останавливаясь едва ли не на каждом шагу, направилась на кухню. Тем временем почтальонка живо растопила печку и захлопнула чугунную заслонку.

Вскоре обе женщины сидели за столом и неторопливо, с блюдечек, пили чай. За спиной у них гудело и трещало в печке, а на окошке возле старинного комода шевелились цветные ситцевые занавески.

Сама почтальонка уже перестала то и дело поглядывать незаметно на тетку Веру, и они в который раз за вечер дружно изучали телеграмму, обсуждая каждое слово, перебивая друг друга.

А хозяйка, вовсе ожившая после чая, налила по очередной чашке и опять, не утерпев, взялась за бумагу.

– К примеру, сейчас начальник, – она не отрываясь зачем-то стала на свет рассматривать дорогой листик бумаги, и ее пальцы беспричинно вздрагивали, – написано Однофазов который: он только военными верховодит, или уж над всеми дадена власть?

– Тут, матушка моя, слушай, все по полочкам разложу... – бойко, как будто дожидаясь именно этого вопроса, наладилась объяснять товарка и для пущей убедительности даже прихлопнула по столу, но, как на грех, сглотнула горячего чая и, обжегшись, в сердцах махнула рукой:

– А понеси водяной всех и начальников: я ведь не свят дух и наших-то ребят с ними не крестила.

Обе женщины расхохотались и одновременно, не сговариваясь, скинули на плечи шерстяные платки: в избе к этому времени заметно потеплело.

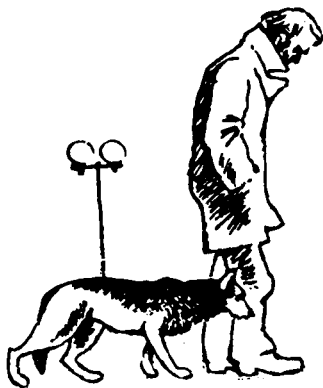
22 ноября 1997 года



# АНАТОЛИЙ БАЙБОРОДИН

г. Иркутск

---



## УТРОМ НЕБО ПЛАКАЛО, А НОЧЬЮ ВЫПАЛ СНЕГ

Уже бо и секира при корене древа лежит.  
*Евангелие от Матфея, 3, 10.*

По городу волочился выживший из ума облезлый пес, которого хозяин взащей выпихнул со двора. Нет, вначале он увез его на городскую свалку, где среди пестрого хлама шатались, словно тени из преисподней, тощие одичавшие псы с изможденной сукой, обвисшее, докрасна воспаленное, истерзанное вымя которой тащилось по мусорным холмам. Хозяин вышел из легковой машины и надтреснутым прерывистым голосом поманил пса; и тот сполз с заднего сиденья и присел подле хозяина, который закурил, брезгливо косясь на свалку. Потом нервно кинул сигарету, растер ее сапогом и, хлопнув дверцами, быстро поехал. Пес, еще ничего не понимающий, кинулся было следом, заковылял на своих остарев-

ших лапах, но тут же, запыхавшись, высунув красный язык, остановился и долго смотрел в ту сторону, где пропала машина с хозяином. Пес думал, но ничего понять не мог, а чтобы не рвать душу горькими думами, поплелся в город.

И через два дня, отощавший – кожа да кости, – измученный, лежал у калитки возле богатого подворья, которое сторожил весь свой собачий век. Когда хозяин заметил пса, то в сердцах, больше уже не церемонясь, стал гнать его от калитки, кляня старую псину на чем свет стоит. Пес, приникнув к земле, еще полз к хозяину и даже хотел облизать его пыльные сапоги, виновато и заискивающе глядя в остуженные хозяйские глаза. Но тот прихватил суковатую палку и отогнал пса подальше от калитки, за которой носилась и гремела молодым лаем черная немецкая сука.

Пес наконец понял, что больше уже не нужен хозяину, и поплелся, не ведая куда и зачем, не чая ни теплой похлебки, ни мягкой подстилки, ни ласки, да и сил не имея думать об этом.

\*\*\*

По городу шел старик. Шел тихо-тихо, и желтоватое лицо его, усохшее и костистое, светилось покоем. Глаза слезились и водянисто синели – ласковые, но безмолвные и отрешенные. Он вышел из церкви. Трижды перекрестившись, трижды, касаясь перстом земли, поклонившись крестам и прошептав Иисусову молитву увядшими синеющими губами, малое время посидел на студеной каменной паперти среди убогих. Но не христардничал, как еще третьего дня. Ныне старик не просил милостыню, а лишь посидел, чтобы после заутрени улеглась дрожь в коленях; затем встал, с хрустом разогнул немеющую спину и пошел, томительно шаркая подошвами. И уж Бог весть, куда он теперь заковывал на своих истомленных сношенных ногах.

Небо, набухшее мороком, тяжело и сумрачно лежало на крышах каменных домов, и город сжимала пепельная мгла. Хотя уже приступил самый канун Казанской зимней Богородицы, было тепло и грязно, потому что перед заутреней моросил дождь. Но старик помнил, что толковали в его давно уже сгинувшей деревне: ежели на Казанскую небо заплачет, то следом за дождем поспеет и снег.

Осеннюю грязь месили сотни сапог и полусапог, озабоченных и суетливых. Ногастая, похожая на болотную цаплю долговязая девица выскочила из парикмахерской, сослепу ткнулась в старика, испуганно шарахнулась и оторопела. Но тут же и очнувшись, махерно помахала возле брезгливо сморщенного носа когтистыми пальцами и всунулась в тупорылую заморскую машину. Старик, кажется, хотел ей что-то сказать – ласковое слово уже легонько колыхнуло своим теплым дыханием его опавшие губы, – но не успел и теперь виновато глядел вслед машине, обдавшей его воюющим жаром.

Он шел по городу; авоськи и баулы испуганно обтекали его. Под стариковское линялое пальто поддувал сырой ветер; он же порой зло теребил и вздымал по младенчески пушистые и насквозь проглядные инистые волосы, обнажая овраги висков, какие бывают еще у лошадей, когда они падают в изнеможении.

\* \* \*

Вот так же осенью сорок первого волочились солдаты, отходя в российскую глубь по грязным и топким разбитым дорогам. Пала в обозе надсаженная лошадь, и молоденький лейтенант, матерками отгоняя от себя жаль, своеручно пристрелил ее; и старик – тогда еще не мужик и уже не парень – глядел на палую лошадь сквозь слезную заволочь, потому что вырос в деревне при конях. Потом нагляделся на смерти, и слезы, пролившись в душу, закамнели в ней, и много нужно было послевоенных дней и молитв, чтобы они растопились и пролились в душу теплым дождем, и там, робкая еще, как вешние травы, народилась любовь.

\* \* \*

По улице тупо и медленно, сплошным и грозным потоком, словно в атаку, ползли машины; хищно сверкали нездешней, непривычной пестротой, сыто, но жадно урчали; и колыхался над ними тяжкий угарный гул.

Но для старика уже все стихло, и вместо уличного гула из пепельной миражной бездонности – словно из-под церковного купола, словно с голубых небес – сухим и теплым ладаном опускались, наплывали покойные чистые звуки и, похожие на далекий-далекий угарный перезвон колокольный, грели стариковскую душу.

\*\*\*

Такие же небесные звуки потоком хлынули на них, когда со скрежетом распахнулись ворота немецкого лагеря – прямо в синюю небесность, прямо в церковный купол; и шли они, безучастные, к участи – может, не люди, а светлые тени, оставившие плоть позади, где бездымно чернели печи, словно редкие зубы в провале старческого рта, словно черные и голые деревья на пожарище.

\*\*\*

Старый пес – теперь уже бездомный, бродячий – шлепал по городу, припадая на ослабшие хворые лапы и робко, просительно, с вялой надеждой заглядывая в подворотни староиркутских одряхлевших усадеб. В одной из них, чужеродно выпячиваясь, степенно похаживал дог, под гладкой лоснящейся кожей которого дыбились и властно играла упругая злая сила.

И тут, может быть, старому псу привиделось далекое-далекое, гаснущее в сумраке лет, когда он, вот такой же молодой, матерый, но смиренный и заласканный детишками, все же оборонил своего хозяина, защитил без всякой команды, рискуя в прыжке угодить на нож. И пес был счастлив такой удаче: спас хозяина, выказал в деле свою собачью преданность; и он бы, наверно, захлебнулся в предсмертном восторге, если бы, заслонив хозяина, не пал наземь, теряя дыхание и кровь.

Дог смотрел на древнего пса холодно и отчужденно, но, не опускаясь до облезлого шатуна, даже и не щерил пасть в его сторону. А тут из калитки, легкая, словно одуванчик, выбежала вприпрыжку синеглазая девчушка и, хлопая белесыми ресницами, уставилась на печального старого пса. Потом улыбнулась, и будто посреди осенней мороси засветилось летнее солнышко, залепетала, пришепывая, на своем детском поговоре, сунула псу надкушенный пряник, и тот бережно взял угощение, прижал губами, но не сглотнул – то ли от удивления, то ли от робости и смущения. Девчушка присела перед ним на корточки, погладила, все так же лепеча, словно шелестели на тихом ветру полевые цветы и травы; и пес неожиданно улегся перед ней, положил морду на лапы и блаженно прикрыл слезящиеся усталые глаза.

Долго ли, коротко ли тянулось это блаженство, но тут из калитки торопливо вышла женщина, ярко наряженная, но чем-то раздраженная, схватила девчушку за руку и резко отдернула от собаки:

– Ты что это, хочешь какую-нибудь заразу подхватить?! Ну-ка, пошла отсюда, старая псина... помойка ходячая! – она замахнулась на пса, потом ворчливо сказала девчушке: – Скорее пошли, а то опоздаю из-за тебя...

И, подволакивая захныкавшую девчушку, женщина торопливо пошла по улице, нервно стуча острыми каблуками. Тем временем дог, щурясь уже враждебно, со зловещей неторопливостью пошел на бродячего пса, и тому ничего лучшего не оставалось, как уйти от назревающей свары.

• • •

Людская река выплеснула старика к торговым рядам, где лавки, словно гнезда осины, лепились одна к другой, где торговали чем-то нерусским и режущим глаза, а чем – старик уже давно не понимал. Да он не смотрел на эти лавки и раньше, а теперь и подавно. Хотя вдруг остановился возле молодой цыганки с черными до жгучей синевы, текущими на плечи густыми волосами, с круглыми глазами, в которых плавали, играли приманчивые светлячки, будто звездочки в глубоких омутах. Торговка скалила зубы, потряхивала вольной полуоткрытой грудью и, весело заманивая покупателей, продавала медные нательные крестики с Христом распятым и Царицей Небесной, которые свисали с руки на блескучих цепочках. Возле нее мялись парни в толстых мешковатых штанах и о чем-то бойко договаривались. Торговка, играя плечами, постреливала своими сумеречными глазами, и с губ ее пухлых, будто вывороченных наружу, не сползала многосулящая улыбка. Но когда парни с гогочущим хохотом пошли прочь, осерчала цыганка плюнула им вслед, замешав плевков на забористом русском мате. И тут же в сердцах набросилась и на старика:

– А ты чего здесь торчишь, старый ...?! – и она прибавила такое, от чего вянут, словно прибитые инеем, даже крепкие мужичьи уши, и старик, хоть и не обиделся, все же пошел от греха подальше.

Он еще остановился возле широкой и вроде деревенской бабы, которая торговала картошкой. Вдруг дивом дивным увидев деревеньку своего полузабытого детства, хотел было заговорить с бабонькой и сказать ей, что утром небо плакало, а ночью Господь зимушку пошлет. Но та испуганно отпрянула от старика и будто даже осенила себя незримым крестом. Кажется, ей почудилось, что на нее дохнула смерть, и не стариковская, а смерть вообще, которая нынче пошла бродить по городу. Но бабонька тут же и спохватилась – словно голос ей был, – сунулась под прилавок и выудила оттуда деревенскую творожную шаньгу, затем, подумав, прибавила к ней брусничную. Весь этот гостинец, прозываемый в деревне подорожниками, уложила в пакет, а коль старик стал отказываться от угощения, то и сунула ему в широко разношенный карман пальто. Старик поклонился бабоньке и, перекрестив ее, прошептал: дескать, помилуй ты, Боже.

\*\*\*

В торговых рядах гремела и билась в припадке шалая музыка, а уж на каком таком поговоре-говоре, старик уже не разумел. Раньше она напоминала ему лай и рычание озверевшей и кроважной своры собак, которые сопровождали пленных, когда они шли из лагеря на работу и обратно, которые рвались с поводков, чтобы дотерзать этих полуживых людей. Но сейчас старик не слышал магнитофонного рыка и лая; ватным нимбом обволакивали его бездумные, пахнущие ладаном и могильным покоем нездешние звуки.

По городу шел старик, седой, изможденный, и когда ветер распахивал его пальто, изветшавшее, грубо, нитками внахлест зачищенное, то взблескивали вдруг медали, прицепленные прямо на выжелтевшую, темнеющую рваными дырами, будто простреленную, исподнюю рубаху.

Неожиданно старик свернул в сумрачную арку, утомленно припал к грубо отесанной каменной стене, и острые щербины впились в его щеку, поросшую реденьким седым волосом. Он оглядел арку, похожую на могильный склеп, и на глаза ему вывернулся деревянный решетчатый ящик из-под вина, перевернутый вверх дном: видимо, кто-то здесь уже переводил сморенный дух. Старик при-

сел на ящик, откинулся к стене и прикрыл глаза тонкими, в синей паутине дрожащими веками. Бог весть, долго ли тянулось это обморочное забытье, но неожиданно старик ощутил, что к рукам его, безжизненно опавшим на колени, к лицу, бледному, без кровиночки, прикоснулось что-то ласковое, теплое, влажное, что-то до сладостной боли родное, словно приплывшее сюда, в город, из далекого деревенского малолетства, которое вернулось к нему и наполнило душу ясной легкостью. Еще боясь поверить, боясь спугнуть оживающее видение, старик не открывал глаза, оттягивал наслаждение, потом медленно отпахнул веки и как-то младенчески ясно улыбнулся: подле него сидел такой же ветхий, как и он, сиротливый пес, только что облизавший ему лицо и руки. Младенчески беззубая и бездумная улыбка тронула синеющие стариковские губы, будто неведомый и случайный среди морока солнечный луч согрел пепельное лицо старика; и, как бывало в его деревенском детстве, он неспешно и протяжно погладил, почесал за ушами, висящими словно лопухи. А уж потом вспомнил о подорожниках, которые сунула ему в карман сердобольная деревенская бабонька; вспомнив, тут же и достал творожную шаньгу и протянул псу. Тот бережно взял ее в зубы и, положив на землю, устался на старика вопрошающим слезливым взглядом. Старик обнял его за шею – опять же как в своем далеком деревенском малолетстве, – прижался лицом к пушистой морде и, блаженно закрыв глаза, снова впал в забытье. Разбудил его посвистывающий шепот, из которого вырывался порой ломкий куражливый басок. Старик будто очнулся, будто вошел в житейскую память и, кажется, догадался, что рядом с ним целуются молодые. Они возились близко, за углом...

Не ведая зачем, старик поднялся с ящика, пошел к ним на негнущихся одеревенелых ногах и стал молча смотреть влажно синеющими из потаенной глубины удивленными глазами; и молча же слушал, как умолял и клялся парень, как тяжело и прерывисто дышала его подруга.

Молодые полусидели-полулежали на широкой садовой скамейке, ради греха и втиснутой промеж каменной стены и густых зарослей одичалой сирени. Прямо на земле, усланной жухлыми листьями, усыпанной сигаретными окурками и обрывками бумаги,

красовалась тонкогорлая, уже почти допитая бутылка вина. Молодые оторопели, словно им явилось бледное бескровное видение из неведомого и печального мира; потом девушка зябко передернула крутыми плечами и, оттолкнув парня, села прямо, натянула на круглые колени юбку. Парень – синеглазый, с коротким и настырным ежиком волос – закурил сигарету и досадливо, выжидаяще уставился на старика. А тот, может быть, каясь и виноватясь, вдруг ясно и живо увидел своего сына, не успевшего даже и отведать путем жизни и давно уж оплаканного и отпетого. Вот поэтому старик и подошел к парню ближе и потянулся к нему рукой, усохшей, мелко и часто вздрагивающей. Девушка испуганно отпрянула, парень же оглядел прищельца от войлочных ботинок до седой головы студеным и острым взглядом, затем процедил сквозь желтеющие фиксы:

– Топай, топай, батя!.. Здесь не подают.

То ли не расслышав, то ли просто не вняв просьбе, старик еще стоял с протянутой рукой и не гаснущей младенческой улыбкой, но парень жестко и хлестко повторил:

– Я кому сказал?! Дергай отсюда. Ну, пошел, пошел...

И старик пошел из глухого каменного двора, заросшего буйной и голой сейчас тоскливой сиренью. В глазах его светились слезы.

\* \* \*

К вечеру небо опустилось ниже и глухо прижало город к земле, и всю ночь до рассвета тихо и густо шел снег, и город, утопая в нем, будто вымер. Только слышался где-то в торговых рядах сиплый собачий вой... Там, между двумя железными ларьками, пожилая баба-дворничиха и нашла старика. Он лежал, присыпанный снегом, словно уже обряженный саваном для вечного и блаженного покоя, а рядом сидел пес, при виде живой души переставший скулить.

Дворничиха, видимо, много перевидавшая на своем долгом веку, не испугалась покойника, лишь вздохнула и, отмашисто перекрестившись, слезливо глядя сквозь заснеженный город в свои печали, подумала вслух:

– И то слава Богу, прибрал Господь бедного, – она перекрестила старика. – Опять же сказать, чем такая нынешняя собачья

жись, дак лучше уж... – она не осмелилась продолжить, словно кто-то упреждающе шепнул прямо в ее душу, что, дескать, этим один Господь распоряжается, и грех тут вольничать, беса тешить и дразнить да подманивать пустоглазую. – Опять же, крути не крути, а надо померти... Прости мя, Господи, грешную...

Она еще раз, шумно вздохнув, глянула на старика, белого как лунь, лежащего на таком же белом и чистом снегу, будто уже слившись с ним.



# РОБЕРТ БАЛАКШИН

г. Вологда

---



## ЦАРИЦЫНА ВНУЧКА

*(святочный рассказ)*

Пятилетняя Катюша, говорливая непоседа, залезла к бабушке на колени. Старец, поминутно задремывая, отдыхал в кресле после обеда.

– Дедушка, а дедушка, – тормозила его внучка.

– Ну что, егоза?

– Дедушка, а почему тебя так смешно зовут?

– Как же смешно? Обыкновенно – Иваном.

– Да нет, а что зовут тебя прапрадедушка. Ты, что ли, правильный, правильный дедушка, а чтоб не было длинно, и говорят: пра-пра?

Дед усмехнулся, поглаживая седую, с ветхой желтизной по краям бороду.

– На все-то, вострушка, у тебя вопросы есть.

– Дедушка, а почему у тебя борода такая длинная? Потому что ты живешь долго? А когда ты, дедушка, умрешь?

В комнату на эти слова заглянула мама.

– Катя! Что ты глупости опять какие спрашиваешь! Пусть дедушка живет дольше. Перестань!

Дед Иван, которому эти вопросы были не в новинку, дотронулся ладонью до внучкиной головки – с зачесанными светлыми волосами и косичкой с голубым бантом.

– Пусть, пусть живет, – крикнула Катя и, когда мама опять ушла на кухню, встала на кресло, обняла деда за шею, горячо зашептала ему в ухо:

– Деда, честно, ты же сам вчера говорил, что пора тебе умирать, да Бог смерти не дает. А кому ты крестики, что в сундучке твоём лежат, оставишь – мне или Пете?

– Зачем же девочкам Георгиевские кресты? Конечно, Пете.

Катя, нахмурившись, быстро слезла с кресла, подошла к куклам.

– Все только вашему Петечке, – дрожащими губками с обидой говорила она. – А я так – плохая? Он все время с ребятами гуляет, а я с тобой разговариваю. Сам недавно говорил, что со мной тебе весело.

– Конечно, весело, – отозвался дедушка. – Пропал бы я без тебя. Ноги-то меня уж совсем не носят, ты моя первая помощница.

– А если первая, так и дай мне один крестик. В телевизоре показывали, как Кутузов Шурочке Азаровой крестик прицепил. Ей так можно?

– Не сердись, – вздохнул Иван Алексеевич. – Все вам оставлю, ничего с собой на тот свет не унесу. Только помните обо мне.

– Будем, будем помнить, – повеселевшая Катюша снова вскарабкалась на колени к деду, который морщился от боли, когда бойкие ножонки внучки переступали по его старым костлявым немощным ногам, но терпел.

– Деда, – попросила Катя, – расскажи, как ты Царицу видел.

– Я ж рассказывал тебе не раз.

– Еще расскажи. Жалко тебе, что ли?

Дед рассмеялся:

– Чего не выдумаешь – жалко. Да сколько же можно?

- Ну, дедушка Ванечка! Я тебя всегда, всегда буду слушаться.
- Как же будешь слушаться, коли молитвы не учишь?
- А вот и учу.
- Правда?
- Правда!

Внучка сделала важное лицо.

- Нет, нет, ты под иконы иди. Не стишок, чай, – молитва.

Катя встала перед иконами в красном углу, одернула платице, тщательно сложила пальчики для крестного знамения, посмотрела на них, оглянулась не дедушку. Тот кивнул ей.

– Богородице Дево, радуйся, – звонким, счастливым голоском завела Катя, – Благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего душ наших. Ой, нет, – поправилась она, – и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших. Видишь!

– Что с тобой делать, – подчинился дедушка, – придется рассказывать.

– Это было накануне Рождества Христова тысяча девятьсот шестнадцатого года, – старательно выговаривая числа, пытаясь подражать говору деда, вступила Катя. – Я тогда находился на излечении в госпитале...

– Да, милая внученька, был я в госпитале, и скажу тебе, не чаял выйти из него живым. Цельный месяц лежал пластом, рана моя не заживала, болела, нарывала, гноилась сильно...

– Гноя, случалось, набиралась не одна кружка, – серьезно сказала Катя, знаяшая наизусть рассказ деда и дополнявшая его, если дед что-либо пропускал.

– Да, верно. Спать я от боли не мог. Горит рана, ровно кто углей мне каленых за пазуху насовал. Со мной в палате девять человек, таких же бедолаг тяжелораненных. И сказали нам, что придет проведать нас Государыня Императрица Александра Федоровна. Научили, как Ей отвечать должно, переодели нас в новые рубахи, простыни свежие постелили, хотя белье второго дня как сменили. После завтрака и утреннего обхода в палату отворилась дверь. Ожидали мы Царицу увидеть в царском уборе, с короной, как изображена Она с Царем на портрете, что возле образов в

палате висел, а вошла сестра милосердия в простом длинном, до пят, белом платье, в косынке с красным крестиком на челе. Высокая, красавица писаная, сразу видно, что Царица. Взгляд добрый, светлый, но печальный.

– Деда, – перебила Катюша, – правда, у меня взгляд тоже печальный? Посмотри.

Дед поцеловал внучку в ясный лобик:

– С чего же ему у тебя печальным быть? Ты же дитя – ангелочку подобна, какие у тебя заботы да печали, а Ее доля, матушки нашей, – за всю Россию перед Творцом печаловаться. Доктор с Нею наш, начальник госпиталя, другие люди. И направилась Она сразу ко мне: не то сказали Ей, не то почувала Она, что я самый тяжелый. Подошла, присела на койку. Доктор ей что-то бормочет сзади, Она повела своей царской ручкой: не мешай, дескать. Доктор и отдалился.

– Как тебя, солдатик, зовут?

– Рядовой первого батальона, первой роты, первого взвода Вологодского Александра Невского полка Иван Молодцов, – рапортую я, а у самого круги в глазах. Тошно мне, болит рана, мочи нет.

– Сколько тебе лет?

– Двадцать один год, Ваше Императорское Величество, с ноября девяносто пятого года рождения.

– А число?

– Третье ноября, Ваше Императорское Величество.

– Надо же, – улыбнулась Она, – какое совпадение. День в день ты родился, как моя Оля. Называй меня просто – сестра. Куда ты ранен?

– В грудь, Ваше Импе...

– Сестра, сестра. Как это случилось?

Иван Алексеевич задумался на мгновение, словно заново переживая ту чудесную встречу, озарившую благодатным светом всю его жизнь.

Катя терпеливо ждала. Бросив кухонные хлопоты, за шкафом, отделявшим большую комнату от кухни, стояла и слушала мама. Ей тоже было не впервой слушать эту быль, но каждый раз она трогала и наполняла душу какой-то грустной радостью. Она не могла

надоест, как не могли надоест и прискучить жития святых, и, слушая неторопливое повествование старца, удостоенного Господом поистине библейской долготы дней, было грустно и радостно думать о тех временах, когда у нас была совсем иная жизнь, совсем иные люди, был у нас Царь, и была Царица – не злая рыжая немка, как поганили и чернили Ее продажные, бессердечные писаки, а возвышенная женщина, умевшая поговорить с простым солдатом как с родным сыном.

– А случилось это так. Пошла наша рота в атаку. Спереди и сзади пушки грохочут, пулеметы бьют, крик по всему полю. Прорвались мы через проволочные рогатки, вышибли немцев из траншей, гоним их. Взводный наш – молоденький поручик, худенький, росточка невеликого, а храбрый как орел. «Вперед, ребята!» – кричит. А из-за бугорка на него немец со штыком, заколет сейчас, снова дыхнуть. «Ваше благородие, берегись!» – кричу я и немцу – наперехват. Да малость не успел, немец взводного прикладом в голову оглушил – и на меня. Ражий детина, косая сажень в плечах, мордатый, усищи как у тигра. Только и я малый не промах, грузчиком до службы в артели в Архангельске работал, пианину, бывает, по трапу несу – ни одна жилка не дрогнет. Бьемся мы штыками, хруст да звон идет. Я, Ваше Импера... сестра, матушка Государыня, в полку по штыковому бою завсегда призы брал, а вот его одолеть не могу, нашла, видать, коса на камень. И сплоховал я, оскользнулся, тут он мне и дал в грудь штыком. Опрокинул меня наземь, замахнулся, чтоб наразу порешить, да взводный, на мое счастье, очухался, из револьвера германца и уложил. Доставили меня в лазарет полевой, сюда в госпиталь, да рана-то заживать никак не хочет, не жилец я, наверно, на белом свете.

– Поправишься, Ванюша, не тужи, – говорит Она мне. – Бог милостив. Так страшно на войне?

– Страшно, Матушка, как не страшно.

– За грехи Господь нам испытание послал. Как осилим его, добром или грехом, так и после жить будем. За Государя молишься?

– А то как же. Как положено: утром и на сон грядущий.

– Ты не как положено, ты сердцем молишь.

– А я иначе не умею.

– Вот и молись, Ванюша. Трудно сейчас Государю. Со всех сторон враги Его обошли, и чужие, и свои. Свои-то страшнее. Говорят о России, мыслят о себе. Молись, и Господь тебя исцелит.

Возложила Она свою левую ручку мне на голову, правой рану мою перекрестила, наклонилась, облобызала меня в щеку и перешла к Степану, соседу моему.

Так-то у каждого Она и посидела, каждого пригрела ласковым Своим словом.

Наступил вечер. Свет в палате потушили, одна лампадка у образа великомученика Пантелеймона теплится, мерцает ровно звездочка. Твержу я молитовки вечерние, одну за другой, боль моя куда-то ушла, и чудно мне стало: понять не могу, что со мной. Телом я как будто в палате обретаюсь, друзья рядом спят, а душой в саду дивном хожу. Что за сад такой? Ведь зима за окном, а здесь деревья зеленые, цветы, трава-мурава кудрявая, птицы поют, и таким духом сладостным, ладанным веет, что дышишь – не надышишься.

Спал я или не спал, только на дворе уж светает, а я словно заново родился. Ничего не болит у меня, душе открылся простор небывалый, в голове думы вольные, бодрые. Встал я, да соколом по палате хожу. Доктор в палату зашел – и ко мне, растопырив руки, бежит:

– Ложись сию секунду, кто вставать позволил?

– Да на что мне лежать, коли я здоров совсем, – говорю я ему, да рукой-то, которой вчера шевельнуть не мог, как прижамкну его к себе, он аж ойкнул.

Бинты с меня сняли – доктор и руками всплеснул.

– Господи, Пресвятая Владычица, – говорит да не переставая крестится. – Чудо, чудо подлинное! За одну только ночь такая рана зарубцевалась. Такая рана! Смотрите, и кожа новая narosla.

Из других палат доктора набежали, крутят меня, рассматривают со всех сторон, поверить не могут.

– Так вот, внученька, и повидал я ее, Матушку-Государыню.

Катя обычно по окончании рассказа дедушки принималась усердно лечить кукол: делала им перевязки, ставила градусники, компрессы, уговаривала их потерпеть, крепиться, брать пример с сол-

дата Ивана Молодцова. Сегодня она задумчиво отошла в уголок под иконы и, взявшись ручками за нижний край покатога аналая, смотрела на них. Какая-то внезапная мысль пришла ей. Такое бывает с малыми детьми. Их беда, что они подчас не могут выразить посетившее их откровение словами.

– Деда, – спросила она наконец, – а если б Царица не пришла, ты бы умер?

– Катя, – сказала мама, – оставь дедушку в покое, он устал. Ступай, займись каким-нибудь делом.

– Деда, скажи.

– Как знать. Дела-то мои были плохи.

– А если б ты умер, и мамы нашей не было бы?

Дедушка развел руками.

– А без мамы – и меня бы тоже?

Мама, угадавшая ход мыслей дочки, присела к ней, обняла за плечики:

– Все правильно, Василиса Премудрая. Если б не Александра Федоровна, тебя бы не было. Уж не хочешь ли ты сказать, что ты Ее внучка?

– Деда, – что-то еще хотела спросить Катюша, но мама на цыпочках повела ее из комнаты.

– Тсс, дедушка спит.

Иван Алексеевич Молодцов, отметивший не так давно свой сто второй день рождения, рядовой Российской Императорской армии, Георгиевский кавалер, воин белой армии, тридцать лет мыкавший свое русское горе на чужбине и полвека назад возвратившийся на Родину, спал. Кто ведает, что снилось ему сейчас, накануне наступавшей Рождественской ночи.



# ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ

г. Ярославль

---



## ТАКАЯ ЖИЗНЬ

### 1

К Надежде Карповне сейчас нельзя «на уколах пожить» – у нее вторую неделю «живет на уколах» Таисья из Рылова. Как она только и умудрилась поспеть раньше других старушек, желающих подлечиться? Даром что восьмой десяток: приковывляла «на трех ногах» – с палкой. Будет она жить у Надежды Карповны – посчитай – и еще две недели, раз ей прописано тридцать уколов. Вот уж после нее.

Днем Надежда Карповна на работе – в поселковой больнице, где она фельдшером; Лукьяновне, матери ее, некогда лясы точить – она все по хозяйству: то у печки, то в огороде, то на дворе – и Таисья скучает одна. От телевизора у нее «в глазах рябит», вязание, как на грех, забыла второпях дома, и целыми днями скрипит она диваном, где ей постелили, то приляжет, то сядет; слушает радио

да листает журналы «Здоровье». Лукьяновна лишь мельком заглянет к ней в переднюю комнату. «Ну, каково?» – спросит. «Да вот лежу», – ответит Таисья. Или: «Да вот сижу», – и затрясет плечами, прикроет ладошкой беззубый рот – посмеется от стыда за свое безделье. В обед, правда, и Лукьяновна, набегавшись, любит в блюдце подуть на пару с приживалкой, благо та, натерпевшись молчком, тараторит без умолку – только слушай да кивай. С полчаса так посидят они – и опять одна в огород, другая на диван. И только к вечеру, ожидая в обычное время Надежду, садятся за стол по-настоящему, с самоваром.

Таисья – большетелая, грузная, с толстым, пористым, будто иголкой исколотым, носом – сидит у переборки, чтобы не мешать легкой на ногу хозяйке бегать на кухню. И теперь уж она старается молчать: это в благодарность за чай и – еще больше – потому, что Лукьяновна ведет речь о дочери, о Надежде.

– Она, слушай что, ой какая своевольная! Никому не под шапочку. Уж чтобы все было по ней. Шабаш! – вкрадчиво и торопливо, опасаясь скорого прихода дочери, доносит Лукьяновна, шевеля клочковатыми бровями, которые у нее двигаются, как у собаки, вслед за взглядом маленьких глазок. – Слушай что. Помню, на Владика пришлют благодарную грамоту из армии, мол, службу несет с примером. А Надежда грамоту как швырнет на стол: «Разве можно худо служить!». Вот ведь какая крутая! Шабаш! Скажет: «А кто, мол, худо служит, так на него за это чего же присылают?»

– Владик-то теперь на продленной? – перебила Таисья, давая понять, что она, уважая Надежду, все знает о ней и о ее сыне.

– На сверхсрочной, – подтвердила Лукьяновна, а сама хитро повела собачьими бровями. – А грамоты – во-от они у меня где-е...

Она, не вставая со стула, выдвинула ящик буфета и достала коробку из-под конфет, показала пачку перегнутых надвое бумаг, стянутых крест-накрест резинкой.

– Я вот помнила, с какого Владик году, да забыла, – опять уважительно вставила Таисья.

Вдруг скрипнула, распахнулась дверь крыльца, туго застучало по ступенькам: это, вмиг смекнули собеседницы, Надежда заводит велосипед на крыльцо – приехала! И Лукьяновна – живо коробку в ящик...

– Вот так больные! – резвый голос с порога.

Лукияновна, сидя к вошедшей спиной, в нарочитом страхе подмигнула, прося Таисью молчать, а та засмеялась – затрясла плечами, закрыв ладонями лицо и выставив пористый нос.

Надежда сняла платок, тряхнула опавшими русыми волосами, глянула в зеркало, машинально повесив платок на угол его, и повернулась к столу. По улыбке, осветившей круглое быстроглазое лицо, было видно: догадалась, что говорили о ней.

– О чем заседание в верхах? – спросила она с безобидной строгостью.

Лукияновна, как бы спасаясь, тотчас побежала на кухню – принести дочери ужин, а заодно и поставить, как заведено, кипятить шприцы. А Таисья улыбнулась испуганно:

– Сегодня, Надежда, в какую же сторону?

– Какая меньше болит.

– Обе болят.

– Ну, в обе и уколою.

Когда Надежда мыла руки, Лукияновна шепнула Таисье:

– Что, напросилась на свою головушку?..

Церемония вечернего чая была известная – для Таисьи она повторялась на этот раз вторую неделю, а всего – третий раз в ее старости: Надежда приехала (а зимой бы пришла), поужинала, теперь спросит как бы между прочим...

– Что же, тетя Тая, чай не пьешь? – спросила Надежда.

– Да я, Надежда Карповна, отпила...

Тут уж все трое засмеялись.

Надежда повелительно встала:

– Мама, шприцы готовы?

– Честь имею, честь имею...

И Лукияновна принесла, держа в полотенце, ванночку со шприцами.

И что будет дальше – известно: тщательно моет руки Надежда, дымится горячий пар над шприцами, звякает отломленное горлышко ампулы – отчего Таисья ежится, ползет светлая капля по приподнятой торчком игле – отчего Таисья зажимает один глаз, а другим косится...

- Марш в переднюю!
- Надя... это, как его...
- Не р-разговаривать!

Лукьяновна остается в прихожей.

– Какая благодать, что я не хвораю! – говорит она сдержанно, но все-таки так, чтобы в передней было слышно.

А там скрипнул диван, там возня и гомон:

- Так в какую сторону?
- Надя, как его... Пяток в эту, пяток в ту... Сегодня, значит...
- Поворачивайся!
- Ва-ва-ва-а... – завывла Таисья, будто прищемила палец в дверях.

Потом, по заведенному порядку, продолжается чаепитие – долгое, прерываемое одной Надеждой, чтобы сходить к корове; разговоры со смехом, но даже и без упоминания о фельдшерской должности – этого Надежда не терпит.

Потом запоздалое, с зевками, убирание со стола, мытье посуды... Но частенько бывает и так: среди самого сокровенного воспоминания – бешеный, пожарный бой в окно, глухой, истошный зов с улицы: «Надежда Кар-повна-а!» И вот в прихожей у порога стоит женщина из соседней деревни – в домашних тапочках, без платка, в расстегнутой фуфайке...

– Ой, да что же, Надежда Карповна, с робенком-то моим! Как уж он!.. Ой, как он!..

И слетает платок с зеркала, брякают в ванночке шприцы – Надежда уходит с женщиной, не сказавшей «здравствуйте», забывшей сказать «до свидания». Гулкие голоса тают в уличной темноте...

Старушки в передней комнате не спят; говорит одна – другая согласнo молчит, потом наоборот; они смотрят на окна: нет, еще не рассветает... Но вот отдаленный шорох, вот шаги, они все ближе – и Лукьяновна, скрипя половицами, спешит отпираться. Отперла – сразу ложится. Все молча. В Надеждиной комнате на минуту загорается свет.

Наконец Таисья, решившись, подает голос:

- Надя?..
- Слышу, тетя Тая.
- Надя, чего я хочу... Я тебе, Надя, носки на зиму свяжу...

– Что?..

– А то, Надя, как же...

– Гражданка Данилова, ты сейчас к себе в Рылово пойдешь или подождешь до утра?

В ответ на это в передней скрипит диван. А с кровати, уже матово белеющей в редкой темноте, заботливый голос Лукьяновны:

– Тая, а Тая... Слушай что, ежели ты сейчас надумала идти, так я тебе узелок на дорогу соберу. А то ведь тебе, исколотой, да еще и на трех ногах, за неделю не дойти...

И все трое – счастливые – засыпают.

## 2

О том, что Таисья Данилова у Надежды Карповны жила на уколах целый месяц и уже не первый раз, как и другие старушки, которым из отдаленных деревень на ежедневные уколы ходить не под силу; о том, что к больному, которому предписан покой, Надежда Карповна ездила на велосипеде или ходила пешком в течение недели, а то и двух, и трех недель; о том, что за Надеждой Карповной приходили, прибегали, приезжали на машинах, мотоциклах и санях, в грозу и в метель, в выходной день и в ночь за полночь, уводили ее из-за праздничного стола, из клуба с фильма, из гостей, из бани, с речки, где она полоскала белье, из лесу, где она собирала ягоды; о том, что она и сама заходила по пути проведать больного то в один, то в другой дом, заносила таблетки, измеряла давление, – об этом в округе знали все. Нельзя было сказать просто: она работает фельдшером. Она вовсе не работала, потому что не чувствовала напряжения, усилия над собою и усталости, не чувствовала и обязанности делать свое дело. Она – это правда – числилась фельдшером, но вовсе не была им, потому что у фельдшера нормированный рабочий день, один выходной и ежегодный отпуск, у фельдшера круг служебных обязанностей, которые он выполняет на рабочем месте и за выполнение которых получает столько-то рублей, – а ни время, ни место, ни вознаграждение с действительной жизнью Надежды Карповны не совпадали. Вести такую жизнь для нее было так же естественно, как естественно дышать, питаться и спать; одеваться, когда холодно; прятаться под крышу, когда дождь; помочь встать человеку, если он упал; тушить

огонь, если загорелся дом; защищать Родину, если ей угрожает опасность; и так же, как в любом естественном поступке, – не задумываться о необходимости и последствиях его.

Но один раз в году Надежда должна была не только думать о том, что конкретно она делала, находясь в поселковой больнице, но и вспоминать с усилием, отыскивать нужное, вновь перечитывая документы на больных, которые давно выздоровели, и не только вспоминать и перечитывать, но даже и рассказывать об этом, и рассказывать именно в письменной, в аккуратной и дотошной письменной форме, что Надежду оскорбляло бы, если бы не было предусмотрено ее должностью: раз в году она составляла так называемый годовой отчет.

Эту работу, каторжную для нее, Надежда брала на дом. Удобнее, конечно, было бы сидеть над бумагами в больнице, где все под рукой, но она и допустить не могла, чтобы за этим постыдным занятием быть на глазах у людей. Тем более – в том неистовом настроении, которое находило на нее в эти дни и делало ее непохожей на саму себя. Она пряталась дома – и от этого еще пуще злилась.

А дома было – все кувырком. Прихожая, где всегда пили чай, на несколько дней становилась как бы нежилой. Неуютно освобождался стол, и на нем своевластно поселялись удивительные для деревенской избы кучи исписанных бумаг, прошитых и непрошитых.

Надежда старалась как можно дольше усидеть за столом, потому что если встать, то опять подойти и сесть будет трудно. И бормотала:

– За что? Ну за что?

Наконец вскакивала:

– Сейчас всю эту макулатуру в печке сожгу!

Лукияновна в эти дни старалась реже попадаться дочери на глаза, боясь лишний раз потревожить ее; хоронилась на кухне или в передней, занималась каким-нибудь бесшумным делом. Но почему-то – как назло – именно в эти дни у нее все не ладилось. То она разобьет тарелку на кухне, то обварит руку кипятком, то, штопая, уколется иголкой – все это с непременным истошным воплем, от которого Надежда вздрагивает, хватается за голову:

– Содо-ом! Содо-ом!

Обедают они на кухне, в тесноте, если это можно назвать обедом: Надежда всего несколько ложек до рта донесет, а то и стакан лишь чаю выпьет и при этом даже не присядет к столу – стоя, за что в обычные дни Лукьяновна обязательно упрекнула бы ее: «Садись, не будь как лошадь!»

Ночью Лукьяновне не спится; ей вдруг покажется подозрительной тишина в прихожей, и она крадется, сама в ночной рубашке, заглядывает в прихожую. Тогда Надежда, не отрываясь от бумаг, проговорит с расстановкой:

– Мама, выпей капель!

Этими безлюдными днями Надежда в душе молится, чтобы пойти хоть к кому-то на вызов. Но деревенские, встретившись на дороге, ведут такие разговоры: «Сходить бы к Надежде Карповне, да нельзя – у нее сейчас годовой!» И никто в эти дни к Надежде без великой нужды не заходит.

Но вот ненавистный «годовой» наконец покидает дом: Надежда, последний раз к нему прикасаясь, смело – будто тыча взашей – сует его в хозяйственную сумку.

– Слава Богу! – широко крестится Лукьяновна. – И за что же такое наказание превеликое!

В доме моются полы, топится баня, стирается накопившееся белье. И опять – долгое праздничное сидение за чаем с пирогами. Надежда и Лукьяновна снова в ладу, они весело вспоминают лихие дни: какие вспышки были у одной и какие ранения – у другой.

В этом году – все, выздоровели, переболели отчетом.

### 3

У Надежды Карповны есть и дело только для нее одной: она любит полоскать белье на речке.

Воскресным днем она заводит стирку с утра; топит нежарко баню, тащит из дома ворох несвежего белья, включает ровно и тонко гудящую стиральную машину. Выстиранное складывает в большую белую и скрипучую корзину, так и называемую – бельевой, покрывает выстиранное передником, чтобы, не дай Бог, белье не запылилось по дороге. Тяжелую, еще звонче заскрипевшую корзину, со дна которой каплет, она всовывает в треугольную раму ве-

лосипеда, привязывает витую ручку чулком. И выводит велосипед на улицу.

Торопливо, предвкушая скорое полоскание, она идет по деревне, выходит за околицу, где так приятен после душевой и влажной бани вольный освежающий ветерок. По шоссе дороге, до этого мощенной булыжником, а теперь – вместо ремонта – засыпанной песком и гравием, недавно прошел, выравнивая ее, грейдер: большой камень вывернут из дороги и лежит на самой середине. Надежда переводит велосипед на обочину, прислоняет к дереву, скатывает камень в канаву – вдруг мотоциклист наедет да разобьется! – и при этом думает о том, как бы ее любимое место на речке не занял кто-то другой. (Ее бывший муж, с которым она в разводе уже давно и о котором она забыла и вспоминать, сказал бы тут: «Тебе вечно больше других надо!») И вот опять она спешит, шагает бодро, ведет велосипед, шуршащий по песку упругими шинами.

Как хорошо – ее место свободно! Она отвязывает корзину, выкладывает на широкий плоский валун, прежде постелив передник, белье, скидывает туфли, заходит в свежую, ласково-холодную воду. Бегущая прозрачная вода щекочет ноги, сносит в сторону и тянет из рук отяжелевшие полотенца и наволочки. Она прямо в воде, взявшись за полотенце посередине, перегибает его надвое, отжимает – и опять складывает в корзину. Пододеяльники и простыни настолько тяжелы, что их, вынув из воды, трудно отжимать, и поэтому сначала, взявшись за край, она крутит ими в воде, сворачивая в тяжелый жгут, а потом отжимает: снеговые простыни шипят и пенятся, как кипящее молоко.

Домой Надежда возвращается обновленная, румяная, радостная как именинница, и восторженно рассказывает матери, как благодатно было полоскать.

Лукияновна, охочая до местных происшествий, перебивает ее:

– Чего было в дороге?

– Дорога гладкая, – отвечает она, – живо я добежала.

– Это ладно, слушай что, не видала ли кого?

– Нет, не видала, – коротко бросает Надежда и продолжает говорить о речке.

И верно: когда она шла, никто ей не встретился, никто ее не видел, никто не знает о том, что она скатывала камень с дороги. И никто и никогда не узнает.



## «...Прорваться в будущую Россию»

(К 70-летию В. М. Шукшина)

На сегодняшний день о судьбе Василия Макаровича Шукшина сказано и написано много. Только по-прежнему остается тайной загадка его преждевременного ухода из жизни. Все чаще говорят о насильственной кончине Шукшина, об этом прямо заявляла на страницах печати и вдова писателя. Но дальше разговоров дело не сдвинулось.

Сегодня особенно важно хотя бы немного приблизиться к этому невидимому порогу последних дней жизни человека, который, и это очевидно уже для многих, выражал как никто из современников наш национальный характер.

Опубликованные материалы и воспоминания его друзей и знакомых при пристальном их изучении заново открывают уже известные факты, выстраивающиеся в поразительно цельную картину происшедшего.

«Последние месяцы Макарыч был больше обычного возбужден и очень испуган», — пишет в своей книге «Шукшин в кадре и за кадром» Анатолий Дмитриевич Заболоцкий — его друг и единомышленник, оператор-постановщик фильмов «Печки-лавочки» и «Калина красная», человеку, которому Шукшин доверял больше всех. Далее он объясняет причину испуга писателя. Дело в том, что в это время Шукшину уделял пристальное внимание один композитор, снабжая его разной информацией, в числе прочего он принес и книгу — тоненькую, напечатанную с «ятями» художником Нилусом в начале века, «Протоколы сионских мудрецов». «Макарыч прочитал эти протоколы, и, улетаая на последнюю досьемку в станицу Клетскую (где снимался фильм «Они сражались за Родину». — А. Ц.), намереваясь вернуться через неделю, — пишет А. Заболоцкий, — оставил их мне с условием читать и помалкивать. Вечером, уйдя от него, я начал читать и не бросил, пока не дочел до конца. На следующий день Макарыч улетел во второй половине дня, мы еще перезвонились, он спросил: «Ну как тебе сказочка? Мурашки по спине забегали? Жизненная сказочка — правдивая. Наполовину осуществленная». Макарыч улетел, а вернулся в цинковом гробу» (стр. 140 — 141).

Тот же А. Д. Заболоцкий сообщает: «Еще помню четко, когда несли гроб уже после прощального митинга на кладбище к месту захоронения, сбоку, через нагромождения могил, пробирался рысцой испуганный директор сту-

дши имени Горького Григорий Бритиков. Он походил на возбужденного школьника, совершившего шалость. И мне вдруг вспомнились слова Макарыча на кухне: «Ну, мне конец, я расшифровался Григорию. Я ему о геноциде против России все свои думы выговорил» (стр. 139).

Подобные факты далеки от какой-либо подтасовки, тем более что целенаправленная травля В. М. Шукшина продолжалась и на Дону, на съемках фильма. «Когда он был на съемках в Клетской и заговаривал о Есенине, Михаиле Воронцове, Победоносцове, Столыпине, Лескове, об угнетении русских, то его клеймили националистом, славянофилом, антисемитом. «Только космополитом ни разу не окрестили», — успокаивал себя Шукшин» (стр. 184).

«Кто только не поносил его в любом застолье в Москве! А венцом подобных нападок была появившаяся вскоре после смерти Шукшина за подписью Фридриха Гореништейна (одного из соавторов Андрея Тарковского, который некогда был сокурсником Василия Макаровича) публикация «Алтайский воспитанник московской интеллигенции» («Вместо некролога»). Настроения, выраженные в этом пасквиле «Вместо некролога», сопровождали последние годы Шукшина, а перед смертью, можно смело утверждать, захлестывали» (стр. 184).

Как правило, в подобных делах, направленных на сознательную, планомерную травлю человека, может быть закономерным и страшный финал. Что же могло послужить поводом для окончательной расправы над Шукшиным? Вывод напрашивается сам. На корабле В. М. Шукшин работал — дорабатывал свою пьесу-сказку «Ванька, смотри!» (После его смерти она появилась в журнале «Наш современник» под другим названием — «До третьих петухов» (стр. 180). За внешней увлекательно-сказочной фабулой четко проводилась мысль о русском характере и вымирании народа, о возможных путях объединения. Кстати, об этом, по воспоминаниям актера Г. Буркова, пытался говорить В. М. Шукшин и в Вешенской на встрече у М. А. Шолохова: «...много говорим о русском характере, а народ вымирает, пора искать путь русского единства». Слово в пустоту упало» (стр. 181). Окружение, в то время там бывшее, не восприняло этого, хотя, разумеется, сам Шолохов все понял как надо. Но не для той компании были слезы Шукшина. «С тостом я там вылетел не застольным о гибели русской», — рассказывал об этом событии Заболоцкому Шукшин (стр. 181).

Мысли писателя — суть его дел. Коль «расшифровался» Василий Макарович здесь, прилюдно, с ходу, — нет сомнения, что все эти мысли и думы наболелишие

находят или уже нашли свое место в рукописи, над которой писатель в то время и работал. Да и название пьесы-сказки «Ванька, смотри!» – само за себя говорит.

Так вышло, что Г. Бурков был как будто последним, кто видел Шукшина в живых и рассказал А. Заболоцкому об их последней встрече так: «В каюте кофе потили. Поговорили, поздно разошлись. В 4 – 5 часов утра еще совсем темно было, мне что-то не спалось, я вышел в коридор, там Макарыч стоит, держится за сердце. Спрашиваю: «Что с тобой?» – «Да вот режет сердце, валидол уже не помогает. Режет и режет. У тебя такого не бывало? Нет ли у тебя чего покрепче валидола?» Стал я искать, фельдшерницы нет на месте, в город уехала. Ну, побегал, нашли у кого-то капли Зеленина. Он налил их без меры, сглотнул, воды попил и ушел, и затих. Утром на последнюю достылку ждут. Нет и нет, уже одиннадцать часов – в 12-ом зашли к нему, а он на спине лежит, не шевелится» (стр. 140).

Этот рассказ Г. Буркова полностью противоречит недавнему интервью актера Панкратова-Черного, опубликованному в № 48 «ЛиФ» за 1997 год. Тот же Бурков рассказал своему другу Панкратову-Черному совершенно иное: «Жора Бурков говорил мне, что он не верит в то, что Шукшин умер своей смертью. Василий Макарович и Жора в эту ночь стояли на палубе, разговаривали, и так получилось, что после этого разговора Шукшин прожил всего пятнадцать минут. Василий Макарович ушел к себе в каюту веселым, жизнерадостным, сказал Буркову: «Ну тебя, Жорка, к черту! Пойду напишу». Потом Бурков рассказывал, что в каюте чувствовался запах корицы – запах, который бывает, когда пускают особый «инфарктный» газ. Шукшин не кричал, а его рукописи – когда его не стало – были разбросаны по каюте. Причем было уже прохладно, и, вернувшись в каюту, ему надо было снять шинель, галифе, сапоги, гимнастерку... Василия Макаровича нашли в нижнем белье, в кальсонах солдатских, он лежал на кровати, только ноги на полу. Но почему рукописи разбросаны? Сквозняка не могло быть, окна задраены. Жора говорил, что Шукшин был очень аккуратным человеком. Да и Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина рассказывала о том, что, когда они жили в однокомнатной квартире, было двое детей, теснота, поэтому все было распределено по своим местам – машинка печатная, рукописи и так далее. Разбросанные по полу каюты рукописи – не в стиле Шукшина, не в его привычках: кто-то копался, что-то искали. Такими были подозрения Буркова. Но Жора побаивался при жизни об этом говорить, поделился об этом со мной как с

другом и сказал: «Саня, если я умру, тогда можешь сказать об этом, но не раньше».

Скорее всего, что второй рассказ Буркова своему другу был откровенным, правдивым. Тем более что диагноз «сердечная недостаточность» не соответствует истине. «Перед самым началом съёмок фильма «Они сражались за Родину» Макарыч лежал в клинической больнице в Кунцево... Лечащие врачи опекали его. Это были два приветливых специалиста. Демонстрируя кардиограммы Макарыча, говорили (при мне это было): «Сердце у тебя – слава Богу...» (стр. 141).

Из всего этого вытекает один единственный вывод – у Шукшина в самом деле явно что-то искали в рукописях, кто-то в них старательно копался. Не пьесу ли о гибели русской «Ванька, смотри!»?.. Ведь именно над ней и работал как раз В. М. Шукшин. «Писал он ее с жаром несмотря на занятость и перерывы из-за поездок» (стр. 180). А этот кто-то, эта нечисть, будучи уверенным, что никто не зайдет в это время в каюту, спокойно и делал свое дело, когда, вероятно, и появился внезапно Василий Макарович Шукшин. Будучи застигнутым на месте преступления, убийца (или убийцы) и вынужден был пойти на смертоубийство, пустив этот, по словам Г. Буркова, особый «инфарктный» газ. Все это и могло произойти в течение пятнадцати минут, о которых упоминал актер. Но кто расскажет теперь всю правду?..

Тогда для чего же нужны были эти рукописи, что пришлось идти на такой страшный шаг? Может быть, ответом этому в какой-то степени послужит тот факт, что на девятый день после гибели В. М. Шукшина из его квартиры (так мне лично рассказывал писатель Г. А. Горышин в 1985 году в Ленинграде, приходивший на девятый день в квартиру), так вот, к этому времени каким-то образом исчезли из жилища Шукшина все рукописи. И лишь спустя несколько лет в журнале «Дружба народов» появился роман-продолжение В. М. Шукшина «Любовины». До этого времени все мало-мальски интересное было уже давно опубликовано. А этот большой роман, вторую часть всесоюзно известных «Любовиных», где говорится о судьбах современного русского крестьянства, отчего-то «задержали» на несколько лет. В предисловии к изданию Л. Аннинский сообщал, что столь долгая задержка с публикацией была оттого, что титульная страница оказалась от другой рукописи. Наивнее объяснения не придумать. Но главное – в другом. В связи с этим возникают закономерные сомнения: а все ли идеологические акценты романа принадлежат

авторству самого В. М. Шукшина? Иначе трудно найти нормальное объяснение с историей романа «Любовины». Ведь далеко не исключено, что те, кто копался в рукописях в каюте Шукшина, преследовали именно подобные цели. Потому и сейчас не покидают мысли: окончательный ли, авторский вариант пьесы публикуется в настоящее время? К сожалению, на этот вопрос вряд ли кто сегодня ответит... Кстати, судьба возможной постановки этой пьесы и тех людей, кто хоть как-то был с нею связан, — тому некоторое подтверждение. Известно, что первые ее варианты читал еще Товстоногов и изъявлял желание ставить, но после гибели в дорожной катастрофе не смог осуществить свою идею.

В. М. Шукшин хотел, чтобы ее поставил Г. Бурков: «Пусть поставит Жоржик «Ванька, смотри!» Посмотрим...» Дело в том, что Бурков был главным претендентом на одну из центральных ролей в будущем шукшинском фильме «Я пришел дать вам волю» — на роль Матвея. Вот Шукшин и хотел проверить, на что годен «главный идеолог крестьянства Матвей», коль он поставит эту пьесу: «Вот Жора на два фронта жить давно научен. И нашим, и вашим. Бывает, едва сдерживаюсь, — говорил сам Шукшин, — Лешу Ванина в упор не видит, тот ему не пригодится никуда, а с Юрой Никулиным, Сергеем Федоровичем (Бондарчуком. — А. Ц.), ух, преклонен... и находчив... Артистизм его нутро скрывает, но сколько веревочка ни вейся...» (стр. 181).

Об этом — уже открыто — говорил в своем выступлении и сам Анатолий Дмитриевич Заболоцкий 23 июля 1989 г. на Шукшинских чтениях:

«Организовал фонд имени Шукшина Георгий Бурков. Он тут присутствует. И мне хотелось бы ему напомнить, что за несколько месяцев до смерти Шукшин написал пьесу, которую — как он сам говорил — задумал с тем, чтобы поставил ее Георгий Бурков. Она была напечатана посмертно в журнале «Наш современник» под названием «До третьих петухов». Первичное ее, авторское название было «Ванька, смотри!» Василий Макарович говорил: «Когда Бурков поставит пьесу хотя бы на любительской сцене, он проявится как гражданин, расшифрует себя, свою гражданскую позицию. И ставить ее не дам никому, кроме Георгия». Однако минуло уже 15 лет после смерти автора, а Георгий еще не поставил пьесу. Думаю, поставь он ее — вот и был бы самый настоящий фонд Шукшина, который организовал бы Георгий Бурков».

Неизвестно, поставил бы эту пьесу на самом деле Бурков: кажется, что-то его от этого шага крепко удерживало, но только и его жизнь оборва-

лась преждевременно. В одном из своих интервью режиссер Э. Рязанов рассказывал, что Бурков случайно сломал ногу. Ему благополучно сделали операцию, состояние было хорошее, и ему должны были сразу послать сценарий фильма «Небеса обетованные», где Буркову предназначалась главная роль. Но он неожиданно скончался. Жуткие, необъяснимые случайности... Между прочим, поразителен и тот факт, что пьеса-сказка «Ванька, смотри!» до сих пор публикуется не под своим названием. Раньше это было сделано из соображений цензуры, теперь же непонятно, кто или что мешает дать пьесе при ее переизданиях авторское название. Отчего все это?

И почему так получается, что судьба этой пьесы-предупреждения, пьесы-предостережения, пьесы-предсказания до сих пор является как бы тайной за семью печатями?..

Василий Макарович Шукшин, вероятно, единственный из своих современников не просто увидел опасность дня сегодняшнего; он, думается, наметил в этой пьесе и пути выхода из того колоссального тупика, в который уже тогда заходила, а теперь, как известно, и зашла окончательно Россия.

Работая над дорогим ему образом Степана Разина, Шукшин в своем постижении России видел через образ этого великого бунтаря и саму душу русского мужика, таким образом постигая суть такого понятия, как крестьянство, — той единственно верной силы, способной не только по-настоящему противостоять черной напасти, но и вывести русского человека на столбовую дорогу православной жизни. И пьеса «Ванька, смотри!», где центральное место принадлежит обобщенному образу русского человека, как раз и воплощала задуманное в современных, наших, так сказать, условиях существования. В эту пьесу-сказку автор вложил все свои думы сердечные, всю боль за Отечество. Ведь недаром в его дневнике прорывается: «Разлад на Руси, большой разлад. Сердцем чую». Конечно, по большому счету дело здесь не столько в пьесе. Понятнее выражаясь, в лице Василия Макаровича Шукшина наш народ, того еще не ведая, в ближайшее время приобрел бы крепкого ЗАСТУПНИКА. То есть человека, способного конкретно влиять на наше духовное возрождение в самом конце века XX.

«Важно прорваться в будущую Россию», — сказано в одной из рабочих записей В. М. Шукшина. И это произнесено с полным осознанием собственных сил и возможностей человеком, который является непостижимым явлением нашей эпохи: крупнейшим, выдающимся режиссером, актером, сценаристом, драматургом и, наконец, непревзойденным, боль-

шим писателем. Воистину, современное искусство еще не знало такого неповторимого сочетания.

Тот, кто совершил злодеяние, ответит перед Богом. А сегодняшняя Россия – это именно все те, кому дорог образ Шукшина. О нем еще много напишут стихов и песен, организуют многочисленные фонды и конкурсы, снимут фильмы. В Москве и Сибири, например, объявляли литературные конкурсы рассказов имени Шукшина. Но о них теперь никто не слышит и не знает. Говорят, что время такое.

И все же, несмотря на время и трудности, ему сопутствующие, два года назад Вологодская писательская организация и областная газета «Русский Север» объявили всероссийский конкурс короткого рассказа имени В. М. Шукшина «Светлые души». Ведь именно на Вологодчине встпхнула всемирно известная «Калина красная», здесь живут его близкие друзья, и на нашей родине мечтал пожить Василий Макарович Шукшин.

Конкурс действительно оказался всероссийским: на наш адрес за это время поступило около двухсот рукописей прозы, география которых чрезвычайно широка – от Смоленска до Владивостока. И даже больше: рукописи приходили от наших славянских братьев – из Белоруссии и с Украины. И самый главный итог конкурса в том, что он показал многим писателям – есть на Руси люди, которым в это трудное время небезразлична судьба русской литературы.

Как написал один из многочисленных участников конкурса: «Шукшин – это сама Россия...» И этим сказано всё.

**Александр ЦЫГАНОВ**

## МЫ УМЕЛИ ЖИТЬ

*(Из рабочих записей В. М. Шукишина)*

Нет, литература – это все же жизнь души человеческой, никак не идеи, не соображения даже самого высокого нравственного порядка.



Я, как пахарь, прилаживаюсь к своему столу, закуриваю, начинаю работать. Это прекрасно.



Самые дорогие моменты:

1. Когда я еще не знаю про рассказ – только название или как зовут героя.

2. Когда я все про рассказ (про героя) знаю. Только – написать. Остальное – работа.



Вот рассказы, какими они должны быть:

1. Рассказ-судьба.
2. Рассказ-характер.
3. Рассказ-исповедь.

Самое мелкое, что может быть, это рассказ-анекдот. В каждом рассказе должно быть что-то **настоящее**. Пусть будет брань, пусть будет пьянка, пусть будет наносная ложь, но где-то и в чем-то – в черте характера, в поступке, в чувстве – проговорилось **настоящее**. И тогда, к концу своей писательской жизни, написав 1000 рассказов, я расскажу наконец о **настоящем человеке**.

А если даже в каком-то рассказе нет ничего от **настоящего**, то там есть тоска по нему, по-настоящему. Тогда – рассказ. Тогда судите.



Я знаю, когда я пишу хорошо: когда пишу и как будто пером вытаскиваю из бумаги живые голоса людей.

Сейчас скажу красиво: хочешь быть мастером, макай свое перо в правду. Ничем другим не удивишь.

Каждый настоящий писатель, конечно же, психолог, но сам больной.



Культурный человек... Это тот, кто в состоянии сострадать. Это горький, мучительный талант.



Самые великие слова в русской поэзии:

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли... Глаголом жги сердца людей!»



Жалеть... Нужно жалеть или не нужно жалеть – так ставят вопрос фальшивые люди. Ты еще найди силы жалеть. Слабый, но притворный выдумывает, что надо – уважать. Жалеть и значит уважать, но еще больше.



Вслушайтесь – **искусство!** Искусство – так сказать, чтоб тебя поняли. Молча поняли и молча же сказали «спасибо».



Произведение искусства – это когда что-то **случилось**: в стране, с человеком, в твоей судьбе.



Угнетай себя до гения.



Ничего, ничего, вот посмотрите: душа – это и будет **сюжет**.



Форма? Форма – она и есть форма: можно отлить золотую штуку; а можно – в ней же – остудить холодец. Не в форме дело.



Сюжет? Это – характер. Будет одна и та же ситуация, но будут действовать два разных человека, будет два разных рассказа: один – про одно, второй – совсем-совсем про другое.

Критическое отношение к себе – вот что делает человека по-настоящему умным. Так же и в искусстве, и в литературе: сознаешь свою долю честно – будет толк.



Сто лет с лишним тянули наши титаны лямку Русской литературы. И вдруг канат лопнул; баржу понесло назад. Сколько же сил надо терпеть, чтобы остановить ее, побороть течение и наладиться тащить снова. Сколько богатырей потребуется! Хорошо еще, если баржу-то не расшибет совсем о камни.

(1966)



Да, литературы нет. Это ведь даже произнести страшно, а мы – живем!



Один борюсь. В этом есть наслаждение. Стану помирать – объясню.



Где я пишу? В гостиницах. В общежитиях. В больницах.



Никогда, ни разу в своей жизни я не позволил себе пожить расслабленно, развалившись. Вечно напряжен и собран. И хорошо, и плохо. Хорошо – не позволил сшибить себя; плохо – начинаю дергаться, сплю с зажатыми кулаками... Это может плохо кончиться, могу треснуть от напряжения.



Не теперь, нет.

Важно прорваться в будущую Россию.



Разлад на Руси, большой разлад. **Сердцем чую.**

(1970)



Ни ума, ни правды, ни силы настоящей, ни одной живой идеи!.. Да при помощи чего же они правят нами? Остается одно объясне-

ние – при помощи нашей собственной глупости. Вот по ней-то надо бить и бить нашему искусству.

(1972)



Мы с вами распустили нацию. Теперь предстоит тяжелый труд – собрать ее заново. Собрать нацию гораздо сложнее, чем распустить.

*(Из высказывания на встрече с М. А. Шолоховым в станице Вешенской).*

(1974)

Русский народ за свою историю отобрал, сохранил, возвел в степень уважения такие человеческие качества, которые не подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, совестливость, доброта... Мы из всех исторических катастроф вынесли и сохранили в чистоте великий русский язык, он передан нам нашими дедами и отцами... Уверуй, что все было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наши страдания – не отдавай всего этого за понюх табаку... Мы умели жить. Помни это. Будь человеком.

*21 августа 1974 г. (39 дней до кончины).*

**ОСНОВНЫЕ ДАТЫ  
ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ВАСИЛИЯ МАКАРОВИЧА ШУКШИНА**

**1929, 25 июля** – родился в селе Сростки Бийского района Алтайского края.

**1943** – окончил сельскую семилетнюю школу в Сростках. Поступил в Бийский автомобильный техникум. Техникум не закончил.

**1945** – принят в колхоз в селе Сростки.

**1946** – покидает родное село.

*«Мне шел семнадцатый год, когда я ранним утром, по весне, ушел из дома. Мне еще хотелось разбежаться и прокатиться на ногах по гладкому, светлому, как стеклышко ледку, а надо было уходить в огромную неведомую жизнь, где ни одного человека родного или просто знакомого. Было грустно и немножечко страшно. Мать проводила меня за село... села на землю и заплакала. Я понимал, ей больно и тоже страшно, но еще больней, видно, смотреть... на голодных детей. Еще там оставалась сестра, она маленькая. А я мог уйти. И ушел».*

*(Шукшин В. Вопросы к самому себе. – М.: Молодая гвардия, 1981. – с. 28)*

**1947 – 1948, май – январь** – поступил на работу в трест Союзпромхозанизация (Москонтора) и был направлен в г. Калугу на турбинный завод. Здесь работал слесарем-такелажником.

**1948, январь – апрель** – от той же организации направлен в г. Владимир, где работал на тракторном заводе имени Жданова.

*«В 1948 г. ... я... был направлен учиться в авиационное училище в Тамбовской области. Все мои документы... повез сам. И потерял их дорогой. В училище явиться не посмел и во Владимир тоже не вернулся – там, в военкомате, были добрые люди, и мне было больно огорчить их, что я такая «шляпа». Вообще за свою жизнь встречал ужасно много добрых людей».*

*И еще раз, из-под Москвы, посылали меня в военное училище, в автомобильное, в Рязань. Тут провалился на экзаменах. По математике».*

*(Шукшин В. Вопросы к самому себе. с.97.)*

**1948 – 1949, апрель – август** – слесарь, разнорабочий Головного ремонтно-восстановительного поезда № 5. На станции Щербинка Московско-Курской железной дороги Шукшин участвует в строительстве электростанции, на станции Голицыно Белорусской железной дороги – в строительстве железнодорожного моста.

**1949, 29 октября** – Ленинским райвоенкоматом Московской области призван на срочную службу в Военно-Морской флот СССР. Начал служить на Балтийском флоте.

**1950 – 1952** – Шукшин переведен с Балтийского флота на Черноморский. Воинское звание – старший матрос, военная специальность – радист особого назначения.

**1953, январь** – решением медицинской комиссии Главного военно-морского госпиталя Черноморского флота (в Севастополе) досрочно демобилизован с язвенной болезнью желудка. Вернулся в село Сростки. Весной – сдал экзамен на аттестат зрелости экстерном в Сросткинской средней школе № 32.

*«Во все времена много читал. Решил, что смогу, пожалуй, сдать экстерном экзамен на аттестат зрелости. Сдал... Считаю, это своим маленьким подвигом – аттестат. Такого напряжения сил я больше никогда не испытывал».*

*(Шукшин В. Вопросы к самому себе. – с. 97.)*

**1953 – 1954, октябрь – июнь** – преподает русский язык, литературу, историю в Сросткинской школе сельской молодежи, одновременно – директор школы.

*«Одно время я был учителем сельской школы для взрослых. Учитель я был, честно говоря, неважнецкий (без специального образования, без опыта), но не могу и теперь забыть, как хорошо, благодарно смотрели на меня наработавшиеся за день парни и девушки, когда мне удавалось рассказать им что-нибудь важное и интересное... Я любил их в такие минуты. И в глубине души не без гордости и счастья верил: вот теперь, в эти минуты, я делаю настоящее, хорошее дело. Жалко, мало у нас в жизни таких минут. Из них составляется счастье».*

*(Шукшин В. Вопросы самому себе. – с. 45.)*

**Июнь** – уезжает в Москву, сдает вступительные экзамены во Всесоюзный государственный институт кинематографии.

**25 августа** – зачислен студентом режиссерского отделения ВГИКа.

**1954 – 1960** – учеба во ВГИКе.

**1958** – В. Шукшин снялся в первой своей главной роли в фильме М. Хуциева «Два Федора».

**1958, август** – в журнале «Смена», № 5 напечатан рассказ «Двое на телеге» – первая публикация В. Шукшина в центральной печати.

**1963** – в издательстве «Молодая гвардия» вышла первая книга «Сельские жители».

- С 1963 – В. Шукшин – режиссер киностудии имени М. Горького. Снимает по своему сценарию первый фильм «Живет такой парень».
- 1965 – вышел фильм В. Шукшина «Ваш сын и брат».
- 1967, **ноябрь** – Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом Трудового Красного Знамени.
- Декабрь** – В. Шукшин удостоен Государственной премии имени братьев Васильевых за фильм «Ваш сын и брат».
- 1968 – в издательстве «Советский писатель» вышел сборник «Там, вдали».
- 1968 – 1969 – В. Шукшин снимает по своему сценарию фильм «Странные люди».
- 1969 – за заслуги в области советской кинематографии удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР.
- 1971 – за исполнение роли инженера Черных в фильме С. Герасимова «У озера» удостоен Государственной премии СССР.
- 1972 – вышел фильм В. Шукшина «Печки-лавочки».
- 1973 – в издательстве «Современник» вышел сборник рассказов «Характеры».
- 1974, **январь** – вышел фильм «Калина красная»; в издательстве «Советская Россия» вышла книга «Беседы при ясной луне».
- Конец мая** – на Дону начались съемки фильма С. Бондарчука «Они сражались за Родину», куда Шукшин приглашен на роль Петра Лопухина.
- Июнь** – в издательстве «Советский писатель» сдан в набор роман «Я пришел дать вам волю».
- 2 октября** – Василий Макарович Шукшин скоропостижно скончался в период съемок фильма «Они сражались за Родину», на теплоходе «Дунай».
- Посмертно В. М. Шукшину присуждена Ленинская премия.

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ</i> В. Белов .....	2
Станислав Мишнев ПОСЛЕДНИЙ МУЖИК .....	5
Евгений Шишкин У КОСТРА .....	12
Ольга Кузнецова ВЕРТОЛЕТИНО ДЕРЕВО .....	16
Анна Радзивилл ВЕРУНЧИК .....	20
Виталий Богомолов И ТОГДА Я БУДУ С ТОБОЙ .....	23
Александр Миронов РУССКАЯ УДАЛЬ .....	26
Юрий Оноприенко ЗА ЯГОДОЙ КРАСНОЙ КАК КРОВЬ .....	31
Виктор Потанин УСПЕХ .....	35
Василий Белов ФИЛИПОК ( <i>из автобиографической рукописи</i> ) .....	41
Николай Шадрин ВЕЛИКАЯ СУББОТА .....	50
Геннадий Соловьев СПРАВЕДЛИВЫЙ КРИВКО .....	55
Александр Цыганов ПОМЯНИ МОЕ СЛОВО .....	66
Анатолий Байборodin УТРОМ НЕБО ПЛАКАЮ, А НОЧЬЮ ВЫПАЛ СНЕГ .....	72
Роберт Балакшин ЦАРИЦЫНА ВНУЧКА ( <i>святочный рассказ</i> ) .....	81
Евгений Кузнецов ТАКАЯ ЖИЗНЬ .....	88
•...ПРОРВАТЬСЯ В БУДУЩУЮ РОССИЮ• ( <i>к 70-летию В. М. Шукшина</i> ) .....	97
МЫ УМЕЛИ ЖИТЬ ( <i>из рабочих записей В. М. Шукшина</i> ) .....	104
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАСИЛИЯ МАКАРОВИЧА ШУКШИНА .....	108

*Литературно-художественное издание*

**СВЕТЛЫЕ ДУШИ**

сборник прозы

Редактор А. А. Цыганов

Художник Э. В. Фролов

Технический редактор М. В. Панцырев

Фото на обложке А. Ковтуна

---

Сдано в набор 17.05.99. Подписано в печать 07.06.99.  
Формат 70 x 108/32 Бумага писчая. Гарнитура «Гарамонд».  
Усл. печ. л. 3,5 Печать офсетная. Тираж 999.

12 р

---

ВОЛОГОДСКАЯ ПИСАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

160035, Вологда, ул. Ленина, 2.

ООО «ГАЗЕТА «РУССКИЙ СЕВЕР»

160001, Вологда, ул. Батюшкова, 7.

ПФ «Полиграфист», 160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3.

